



Ариадна
Борисова

Хлеба и чуда

За чужими окнами

Ариадна Борисова
Хлеба и чуда (сборник)

«ЭКСМО»

2015

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Борисова А. В.

Хлеба и чуда (сборник) / А. В. Борисова — «Эксмо», 2015 — (За чужими окнами)

Он – талантливый артист с редким, шаляпинским, басом, находящий убежище от неустроенности жизни в алкоголе. Она – настоящая француженка, исполнительница шансона. На дворе – то самое время, когда между СССР и Европой стоял железный занавес. Их встреча почти случайна, но незабываемо ярка, вот только возможно ли у нее хоть какое-то продолжение?.. В авторском сборнике Ариадны Борисовой собраны лучшие рассказы о любви и о той поре, когда полки магазинов были пустыми, люди голодными, зато каждый был искренен и все же верил в чудо.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Борисова А. В., 2015
© Эксмо, 2015

Содержание

Скачет леший по лесам	6
Иваны да Марья	6
По прозвищу Трансформатор	20
Гостинец для Терешковой	25
Ты все знаешь	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Ариадна Борисова

Хлеба и чуда (сборник)

© Борисова А., 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015

* * *

Скачет леший по лесам

Иваны да Марья

Предков Александры Ивановны привезли в Якутию силком по царскому указу «садиться на пашню в еланных местах» триста лет назад из-под самой Москвы. Воевода велел раздать семьям конный и рогатый скот, поселенцы стали возделывать неласковую северную землю, сеять рожь, ячмень, коноплю для масла и пеньки. Сюда же ссылали каторжан, позже добавились старообрядцы и скопцы. Отписной грамоты было не добиться, из тайги не вырваться, редких беглецов неизбежно ловили и отправляли на Нерчинские рудники, где люди, не успевая надорвать жилы, заживо разлагались от свинцового яда. Постепенно образовалась большая русская слобода, хлебная и ямская: до продажи Аляски тут проходил тракт российско-американской компании. Попы крестили наездами «своих» и аборигенов. Язычники принимали православную веру не без корысти – крещеным выделяли земельные наделы. Новообращенные венчались с русскими девушками, и скоро к житнице приросли ветви мешанцев – людей красивых, рослых, с детства знакомых с трудом пахарей, отчего их и прозвали «пашенными». Когда родилась Александра Ивановна, в ту пору Сашка, ее село разговаривало на стойком пашенном диалекте с вкраплениями якутских слов, старики и по сию пору на нем говорят.

В детстве из палисадника Сашкиного дома выше крыши поднимались, переплетаясь ветками, две березы. Пятна солнца в их тенях усеивали песчаную тропинку к дому ярко, густо, как пролитый мед. О меде в деревне знали не понаслышке: лесник Иван Гурьевич Чичерин – последний скопец, за глаза называемый Мерин-Чичерин, держал пасеку, его пчелы собирали взятки с обильных саранковых лугов.

Грустная история была связана у Ивана Гурьевича с пасекой. Диких пчел сумели приручить два брата-скопца, трудяги оборотистые, но ветхие, и больше пасечным делом никто не занимался не то что в слободе, а может, и по всему Северу. Иван же Чичерин еще мальчишкой прикипел к работе с медоносами. Из-за них и остального огородно-полевого наследства, человек уже не юный, дал он себя оскотить. Так говорили сельчане, прекрасно зная, что безрассудный поступок этот Иван Гурьевич совершил в горячах по причине измены синеглазой любви своей Марьи.

Единственная дочь из зажиточной семьи с тремя сыновьями, гордая Марья не одному жениху отказала, а к Ивану Чичерину – неказистому, с лицом, порченным в отроках оспой, по совету отца относилась благосклонно. Сговорились, тут девица возьми и сбеги с другим Иваном, Кондратьевым. Не счесть историй, когда истомленная собственной заносчивостью перестарка чуть ли не из-под венца бросается от серьезного человека в объятия первого же подвернувшегося шалопая. Ванька Кондратьев был ветреником, но красавец – Марье под стать.

Вдовый отец беглянки погневался и принял Ваньку в дом по справедливости, как четвертого сына, под обещание не ярыжить. Однако жизнь молодых в дружном семействе не заладилась не из-за нарушения Ванькой клятвы, а из-за сочувствия примака новой бедняцкой власти. Зыбкая эта власть заявляла о себе все бойчее между налетами белых отрядов и разбойных анархических банд, и Марьины братья-середняки скоро тоже перестали упираться.

В экспроприации имущества Ивана Чичерина Ванька Кондратьев принял живейшее участие. Поля-огороды, небольшая коровья ферма отошли крестьянскому товариществу, пасеку милостиво оставили Ивану Гурьевичу. Возле нее, на окраине деревни, он и срубил избенку. А добротный скопческий двор у реки на взгорье, с домом и черной банькой, решено было отдать свежеиспеченному начальнику – заведующему общественной фермой Ивану Степановичу Кондратьеву.

Первым делом он на радостях посадил в палисаднике две высокие березы – застолбил будущее счастье. Деревья взялись на диво согласно, и хозяйственником Иван Степанович оказался справным, несмотря на досужие разговоры о его ветрености. На возобновившиеся пьянки Ивана Степановича сельсовет смотрел сквозь пальцы. Все же знали, что Кондратьев в бытность Ванькой не дурак был покутить с промысловых удач, да ведь и охотником считался фартовым. Раззудился, значит, в Иване Степановиче прежний гулена, но заработок нес строго жене, напивался не столь уж часто, негромко и не дома. А Марья... Недолго боролась Марья с дурными наклонностями мужа, родила дитя и по виду смирилась.

Сашка знала, как жестоко мать мучилась ревностью, презирая всех женщин и любую, в частности, самое себя не щадя в негласном, но из каждой поры пышущем отвращении. Ревновала отца, а не любила. Кого Марья любила беззаветно, всем сердцем без памяти, так это первенца Ванечку, – точно с лица сына сияло ей солнце. Сашка же появилась ребенком незапланированным, случайно, можно сказать, в год отчаянного всплеска Марьиной женской активности. Мать ходила вторым бременем трудно, ждала снова мальчика, красивое имя подобрала ему – Александр, а разрешилась существом своего немилого пола и в страшном разочаровании не захотела даже подумать о более приемлемом для девочки имени.

Вопреки родительскому недогляду Сашка росла здоровенькой, шустрой, как пацаненок. Мать ею и не заморачивалась. Но Ванечка! Сын! Святое... Марью восхищало собственное продолжение в мужчине, человеке противоположном созданиям слабым и порочным по природе. Думы о ненаглядном Ванечке утешали черствеющую в злой обиде душу: Иван Степанович сквозил мимо жены холодным ветром и через четыре дня на пятый не ночевал дома. Да кому о том было ведомо? Кому было ведомо – молчали. В остальном не придерешься – отгрохал новую ферму, вывел хозяйство в передовые, свой дом держал в исправности и сына наставлял к мужицкой работе.

Просьпаясь ночью, Сашка видела, как мать на цыпочках крадется проверить, не скинул ли Ванечка одеяло, не приболел ли, не дай бог, охотясь в мороз на рябчиков; видела, как любитесь она его спящим лицом, отдалив свечу. Девочка пугалась безумных глаз матери, ярче свечей исходящих светом горячечной нежности, в которой, казалось, тонуло все ее тощее, длинной жердью иссохшее тело. Ни разу зыбь этой нежности не коснулась дочери, зябнувшей под коротким заячьим одеяльцем, знавшим еще Ванекино младенчество.

Неистовая материнская любовь не испортила мягкого, дружелюбного характера Сашкиного брата. Ровный со всеми, он и к домашним относился с одинаковой лаской. Весной высаживал в палисаднике сине-белые анютины глазки для Марьи, а для сестренки – красные маки и, ущипнув за румяную щеку, шутил про маков цвет. Сашка подозревала, что по-настоящему Ванечка был привязан к одному человеку – леснику Ивану Гурьевичу. Ее и в помине не было, когда они подружились.

Чичерин жил бирюк бирюком. В деревне его недолюбливали. Не терпя неряшливости, суровый лесник заставлял начисто прибирать древесный мусор с делян, к самовольным вальщикам и браконьерам был беспощаден. В вольере возле своего домишки Иван Гурьевич выхаживал то подраненного лося, то волчонка, попавшего лапой в капкан. Ребяшня набегами норовила сунуть хлеба сквозь сетку, кто и шишками в зверей кидал. Потрясая прутом, Чичерин грозил высесть озорников.

Ванечку дома не наказывали – не за что было, он и тут не побоялся: «Не ругайтесь на меня, дядя Ваня, я ж плохого не делаю». Глянув в синие глаза мальчика, Иван Гурьевич дрогнул. Постоял с поникшей головой, размышляя о чем-то, и внезапно смягчился: «Заходи». Потом накинул ему на голову шляпу с сеткой и повел на пасеку. Мальчика заворожили слова, в которых вроде бы ничего особенного не было: «Слышь, царица тоскует? Деток оплакивает. Тесно имям, часть отделиться от семейки хочет». Матушка-пчела действительно издавала жалобные звуки, пчелы пылко роились вокруг.

Ванечка сразу влюбился в кропотливое пчелиное царство. Позже рассказывал сестренке об окруженной почтительной свитой царице, о подданных, готовых отдать ей в голод последнюю каплю меда. Маленькая Сашка слушала, не все понимая, думала – сказки.

Миска с медом перестала быть редкостью на обеденном столе. Отцу дружба сына с лесником не больно-то нравилась, но на первых порах помалкивал. Сам в подростках нанимался в охотку к старым скопцам полоть огород за крынку сладкого солнца.

Никому не признался бы Иван Степанович, что совестит себя за стыдный раж раскулачивания. Было тогда так: покойный тесть шепнул, будто Чичерин собирается завтра передать Советам скопческое добро, и Ванька Кондратьев, пораскинув мозгами, подначил товарищей действовать до рассвета, пока Мерин-Чичерин спит. Со смехом, с прибаутками выкинули скопца из дома в подштанниках. Весело получилось, а в недобрый час царапнула Ванькино сердце вина и начала точить, и понемногу вся досада, все недовольство собой обернулись против Марьи. Из-за нее хотел унизить Ивана Гурьевича, из-за нее сообразил, как легче завладеть чужим ухоженным двором!..

Поздно спохватился Иван Степанович с запретом сыну шастать на пасеку. Ванечка, вымахнувший выше отца, глядя без страха в лицо, заявил: «Убери, тятя, ремень-то, отберу ведь». Марья осмелилась укорить мужа: «Сам виноват, семья тебе побоку...» Иван Степанович молча стукнул кулаком в стену и ушел в загул на неделю, благо звеньевые досматривали за фермой преданно... А Ванечка, окончив в том году семилетку, подался к Чичерину в помощники.

...Июнь 41-го выпал у Сашки из памяти, но вот ноябрь запомнился фразой, повторяемой на разные лады: «Немец под Москвой». В клубе крутили патефон, и под песню Утесова «Дан приказ ему на запад» семья проводила на фронт Ивана Степановича. Иван Гурьевич уехал с ним в одном грузовике.

Соседка Катерина, сблизившаяся с Марьей во время войны, рассказывала, что кто-то уведомил военных людей о тайне лесника, всем в деревне известной. Приезжий командир будто бы захохотал и хлопнул Чичерина по плечу: «Повезло тебе, скопец, яйца-то в бою только помеха!»

Присмотр за таежным участком и пасекой остался за юным лесником. Заезжая по работе в городское управление лесничеством, Ванечка рыскал по базам и рынкам, где только мог, и скупал соль и спички. Запаса хватило на целых три года, мать была бережлива. С тех пор сохранилась привычка у Сашки, давно уже Александры Ивановны, заходя в магазин, в первую очередь осматривать полки в поисках соли и спичек, всякий раз с воспоминанием о брате.

Восемнадцатилетнего Ванечку увезли с новым набором поспешно, словно на пожар. Прошел ледоход, Сашка с детворой носилась по берегу, бросая в осколки шуги¹ крошки хлеба, – задабривала речных духов, чтобы год выдался урожайным и кончилась война. Не успела попрощаться с братом и рассердилась на мать, что не позвала. Не застав ее дома, нашла по глухому вою, доносящемуся с задворок. Марья плашмя лежала на сырых бревнах, выловленных накануне багром на реке, и выла надсадно, на одной ноте, как волчица. Сашка вначале отпрянула, такими жуткими почудились ей надломленные над головой матери руки, все ее вытянутое вдоль черных бревен тело и безысходный вой. Лишь когда в груди прекратилась дятлова дробь, осмелилась дернуть Марью за безвольно упавший локоть и некстати заметила в русых волосах белой сталью блеснувшие пряди. В открытых глазах, точно в ледяных лунках, дрожала синяя-синяя вода и, светлея, текла по вискам. Сашка поняла, что мать в беспамятстве, села рядом на мокрую кучу коры и тоже тихонько завывала.

Осенью почтальонка принесла письмо от Ванечки. Отправил он его со станции Мальта Восточно-Сибирской магистрали, где проходил снайперскую подготовку в стрелковом полку. Марья схватила письмо обеими руками, плача и радостно вскрикивая, Сашке даже неловко стало перед чужим человеком за ее поведение. Читая вслух, вздох по складам, мать без стес-

¹ Шуга – мелкий рыхлый лед.

нения покрывала бумагу поцелуями. В этом послании, почему-то запоздавшем на два месяца, Ванечка писал, что на днях едет на фронт, спрашивал, как справляется с работой лесник, поставленный доглядывать за участком вместо него и Ивана Гурьевича. Наказывал сестренке хорошо учиться и просил заложить специальными подушечками улы.

Сашка опоздала, пчелы куда-то улетели. В классе она единственная не пропускала уроков: из-за небывалой засухи в деревне случился недород, и люди голодали. Сена Марья с Сашкой заготовили чуть, и пришлось отвести бычка Борьку на бойню. Злая, не подступиться, притащила Марья домой пятнадцать килограммов мяса – все, что осталось от Борьки после сдачи обязательных ста килограммов государству. Содрав со шкуры меховой покров с частью мездры, Марья выморозила кожу и порубила на кусочки для супа. Корова Субботка перебивалась чем придется, молока стала давать вполтину меньше ранешнего, к тому же почти все оно шло на погашение ежедневного продналога. Сено зимой совсем кончилось, и Субботку постигла Борькина участь. Сашка плакала, отказывалась есть суп из коровьих костей. Спокойная, доверчивая Субботка с телянка была Сашкиной наперсницей, раньше девочка мечтала, что корова умрет счастливой, дожив до глубокой старости.

Из города потянулись невероятно истощенные люди. Мать прибила к калитке железную щеколду и велела не открывать незнакомым. Однажды Сашка увидела в окно, как по дороге мелкими шажками бредут женщина с маленьким мальчиком, и вынесла им несколько вареных картофелин. Вблизи женщина походила на одетый в лохмотья скелет, мальчик выглядел немногим лучше. Они жадно проглотили картошку тут же за калиткой. Сашка снова не утерпела и отдала им зайца, попавшего в петлю на удачливом Ванечкином месте. Женщина очень благодарила, а мальчик смотрел на мертвого зверька и плакал.

Сашка не сказала Марье о снятом утром зайце и ждала, когда эти двое снова придут – припрятала для них рябчика. Но они не пришли...

Отдежурив на ферме ночью, Марья, перед тем как завалиться спать, выпивала две кружки горячего чая. Сашка с вечера заваривала этот самый чай из сушеных ягод шиповника, колотой чаги и жженой картофельной кожуры. В настой шли очистки без «глазков», остальные копилась для будущей рассады. Из подгнившей картошки пекли драники, из сладковатой помороженной – оладьи с мучным конопляным семенем, а позеленевшие, застрявшие в углах подполья клубеньки мать выкидывала – такими бульбочками люди травились насмерть.

Сидя у раскрытой дверцы прогоревшей печи, Марья дула на черный кипяток и слушала политинформацию. Дочь пересказывала читанные в школе сводки Информбюро.

– Не написано, что ли, где бой-то был? – спрашивала мать.

Сашка с болью смотрела на серое материно лицо с сумеречными полыннями глаз:

– Не назвали место.

Марья вздыхала:

– Неужто досюда война дойдет? – И вдруг, светлея лицом, вспархивала к Сашке длинными ресницами: – Может, Ванечку бы тогда хоть на денек домой отпустили...

Письма с фронта приходили на каких-то бланках и обрывках оберточной бумаги. В углах треугольных конвертов стоял сиреневый штамп: «Просмотрено военной цензурой». Раз в месяц малограмотная Марья выводила прилежные каракули карандашом на листах Ванечкиного блокнота и вкладывала в письмо сыну чистый лист для ответа. Тетрадей не хватало, дети учились писать мелким почерком на полях газетных страниц и между заголовками. У каждого имелась своя школьная коптилка – пузырек из-под лекарства со спущенным сквозь жестяной кружок фитилем. Коптилки заправлялись казенным горючим и давали достаточный свет для чтения-писания, но сильно чадили, поэтому все в школе, включая учителей, ходили с черными носами. Сашка торопилась написать письма и выучить часть задаваемых на дом уроков в классе, экономя, кроме домашнего керосина, время, чтобы помочь матери по хозяйству и выспаться к утреннему ношению воды.

Сашке нравилось ходить к реке в синеве тающих сумерек, особенно если выдавалась ясная морозная погода, и можно было видеть, как поблекшая луна спешит ко сну. За ночь прорубь успевала намерзнуть прозрачной пластиной льда. Под сильными ударами пешни разлетались жалающие осколки, и отворялся вход в таинственную мерцающую глубь. Розовые и лиловые льдинки отражали Сашкину шаль с красными цветами, шуршали, светились, играли в воде, словно веселые живые леденцы. Легкий ветер рвал кисею тумана с прибрежных деревьев, веял перловой снежной пылью и моросом усеивал лицо. Девочка шагала с полными ведрами, изумляясь стремительной силе рассвета. Небо пробуждалось, тесня темноту к западу, будто кто-то огромный, может, сам Бог, о котором мать запрещала рассказывать в школе, поднимался с солнечной лампадой к вершинам восточных гор. Подмокшие подошвы старых отцовских торбазов грозились намертво прилипнуть к тропе, но Сашка все равно останавливалась, отдыхала и зачарованно смотрела вверх.

В субботние дни она носила воду и вечером – для стирки. Раз в субботу, чувствуя странное томление после речной «прогулки», Сашка подкрутила фитиль лампы повыше и разложила на столе газету. Марья удивленно подняла брови, но, верная внутренним правилам, промолчала. А Сашке было не до разговоров: впервые решила написать письмо отцу не по принуждению и долгу.

Тятя здравствуй милый мой,
приежай скорей домой.
На небе звездочки моргают,
тебе с Ваней привет посылают.
Прочь гоните фашистов проклятых,
ждут с победой героев ребята!

Сочинила стих и осталась неудовлетворенной: не смогла выразить переполнявшие душу чувства. Строки гибкие, горячие, точно тальниковые прутья для плетения корзин в кипятке, маялись в Сашке, а на выходе были не те... совсем не те. Внизу она подписалась «Александра», а не «Саша», как обычно.

Почему-то хотелось, чтобы Марья украдкой прочла письмо. Пусть бы отругала за керосиновое расточительство, но прочла. Сашка представила внимательно прищуренные глаза и бледные губы, которыми мать беззвучно шевелила за ее спиной... Напрасно оглянулась. Марья была занята – целовала старое Ванекино письмо.

Едва сугробы поглубели и зазернились с исподу, Сашка стала до зари бегать в тайгу на охоту. С палкой и сеткой караулила токующих глухарей. Токовища находила заранее, Ванечка научил отслеживать по штрихам на снегу, вычерченным крыльями самцов. Птица в такое время неосторожна, расправит иссиня-черный хвост с белыми крапинами, напыжит изумрудный зоб и – а-ах! – как примется щелкать! Трубит, стрекочет, перекачивает в горле шелестящие камешки, на весь лес выводит весеннюю песнь! Жалко было подбивать, а надо – Марья радовалась добыче...

Весной выяснилось, что буренок порезали в большей части дворов. Сильно убавленное колхозное стадо пастухи выводили пастись в тальнике с ружьями, опасаясь набегов одичавших собачьих стай. Фермерские коровы обгрызли шерсть друг у друга выше холка, позвонки их голых хребтин торчали, как обтянутые кожей шарикоподшипники. А жалкое стадо домашних коров оказалось бесхвостым. Хвосты своим кормилицам отрубили и съели хозяева.

В начале лета в деревню приехали на грузовике врачи, следом прибыла водовозка со средством от чесотки и вшей. Медики осмотрели сельчан, каждой семье налили в бидоны вонючее лекарство. Забрали с собой в больницы чахоточников и людей, пораженных язвами авитами-

ноза. Проверив Сашку, пожилая докторша с удивлением сказала: «Гляньте, какая у девочки отменная мускулатура при всей худобе!»

Завертывая на пасеку, Сашка видела пчелок, летавших у покинутых ульев. Сунула нос в леток, а внутри ничего нет, и медом не пахнет. Зато на опрятной поляне, где стояли на «курьих» ножках глухие пчелиные домики, богато взошел щавель. Хваткая Сашка собирала щавель, рвала черемшу и дикий лук, сыпанувший вслед за половодьем на нижних лугах, в рукавицах резала серпом ядреную крапиву, чьи узорные листья годились в щи, а стебли на кашу. С приправленного отрубями варева немилосердно пучило, но первая зелень после голодной зимы казалась вкуснее надоевшей картошки. Цветущее вопреки всему, каленное трудом на морозе и солнце здоровье Сашки упорно тянуло к жизни мать, истерзанную ожиданием. Варили несладкий мармелад из смородины, квасили в тесах съедобные травы, сушили грибы, тарили бочата брусникой...

Караваны барж плыли мимо деревни, выталкивая на песок бегучие ступени волн с кружевными окаемками. К берегу приставали крытые лодки-шитики с парусами, самосплавные паузки, соединенные в кормах, – настоящие флотилии! – и начинался базар. Крестьяне меняли овощи на чайники и ведра или, если со сплавщиками наезжали цыгане-лудильщики, несли свою посуду подлатать.

Марья как-то помчалась к скинувшему сходни пароходу «Пятилетка» и вернулась очень довольная. Бросила на стол перед Сашкой горсть ирисок – на, подсластись, и достала из сумки что-то завернутое в газету. Не удержалась, показала дочери шоколадную плитку с иностранными буквами на коричнево-алой обертке, нежно воркуя: «Ванечка приедет, а у нас-то вот, шоколадка для него есть, шоколадка...» Тончайший жестяной шелест фольги и ни с чем не сравнимый аромат незнакомого лакомства чуткая нюхом Сашка запомнила крепко, но, сколько бы в мирное время ни брала шоколад, не было того чудного благоухания.

... Жито золотыми волнами ложилось на стерню, вязальщики закручивали богатые охапки снопов – неслыханный случился урожай! Когда груженная доверху машина доставляла зерно на ток, дети подбирали россыпь по всей дороге, и никто не запрещал уносить домой. Целый обоз подвод вез к ссыпным пунктам и зерноскладу лобогрейки, сортировки, веялки... А ведь стояли еще картофельные поля! Осень выдалась теплая, поздняя, Сашка до инея бегала босиком, жалея ботинки. Озябнув, влезала ногами в свежую коровью лепеху, согревались ноги, и дальше – бегом, прытью, стремглав – по береговому песку, по скользящей мертвой хвое таежных тропок, по ежику отражавших покосов...

Не учились до середины октября, покуда продолжалась уборка. Работали честно и много. Трудились на будущее. Всегда на будущее. К нему вела мечта широкая, привычная, утвержденная партией и правительством; светлое завтра стало сегодняшним долгом и, главное, позволяло верить в то, что рабочий вклад каждого человека помогает приблизить победу... и коммунизм планетарного масштаба... и счастье без границ! Старые учителя плелись с полем потемну, как пьяные, держась за ограды. Сашка, рослая не по годам и по-здешнему «ртутная» до любого задела, и то к ночи думала, что утром не встанет.

Превратились в рванину просоленные Сашкиным потом Ванечкины рубахи. Ордера на небольшие отрезки тканей выдавали ударникам труда по праздникам, а их всего три: 7 Ноября, Новый год и 1 Мая. Марья за кулек зерна выторговала у городских спекулянтов красивое клетчатое платье. Девочка щеголяла в обновке до первой стирки, но только опустили в воду – платье расплзлось в руках. Мать больше огорчилась, чем разгневалась: «Как же имям не совестно? Еще, поди, радуются, что надули...» Сшила Сашке и себе шаровары из дерюги, подкрасила настоем ольховой коры. В таких шароварах ходили в деревне и стар и млад. Штаны эти были куда выше качеством спекулянтских тряпок, но тепла не держали.

В следующие летние каникулы Сашка подрабатывала учетчицей на ферме. За неимением бумаги вела учет молока от каждой коровы угольком на фанерной дощечке. Подведя дневной

итог, смывала записанное и чертила новую таблицу. Очень гордилась, получив за трудодни мешок готовой муки – не надо лошадь просить, везти на мельницу! Но больше Сашке нравилось ухаживать за телятами, даже чистить навоз за ними не ленилась. В мае первой открыла перед малышами ворота на пастьбу. Травки, правда, почти еще не было – так, зеленоватый ворс, подснежниковый пух...

И в этом-то бархатном, цыплячем мае произошло великое событие, огромная, всеохватная радость: радио на столбе сельсоветской площади торжественным голосом Левитана оповестило сельчан о полной и безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Доярки увидели гурьбу детей, с криками несущихся к ферме, испугались: пожар?! Потом сами закричали, запрыгали вместе с детьми:

– Победа! Победа!!!

Ликующий шум несся с площади, словно малиновый звон, там – хоть уши затыкай – вопили, голосили, рыдали те, кто ждал, и те, кто положил под скатерть похоронку, но все равно... все равно ждал!..

Приехал из госпиталя контуженый сосед, муж тетки Катерины дядя Кеша. Один за другим, по двое-трое возвращались домой фронтовики. Самой счастливой по всей Якутии была мать пятерых братьев Соколовых из деревни Еланки, недалеко от Сашкиного села. Братья служили в одном орудийном расчете, и, как сообщил их комиссар в редакцию газеты, «... в одном только бою уничтожили роту немецкой пехоты, пять автомашин, штаб немецкого полка, две батареи, склад с боеприпасами и шестиствольный миномет...». И все пятеро, в орденах и медалях, вернулись домой!² А мать из другого села не дождалась с войны пятерых сыновей. Много лет спустя на косогоре у дороги, куда женщина до самой своей смерти ходила высматривать своих мальчиков, ей поставили памятник...³

От отца с Ванечкой давно не было писем. Ни слуху ни духу. После вести о войне с милитаристской Японией Марья глухо выла весь вечер в дровянике.

Сашка одна собирала бруснику, у Марьи не доставало ни сил, ни желания. Сидели однажды на крыльце, чистили ягоду. Тетка Катерина пришла пожаловаться на мужа. Оглухший дядя Кеша, прежде спокойный – щенка с тропинки не сгонит, обойдет, – стал слабонервным и, подвыпив, буянил.

Послышался рокот мотора, напротив дома остановился военный грузовик и через несколько секунд развернулся и уехал, оставив в дорожной пыли странный, чем-то бугристым наполненный мешок. В открытую калитку Сашка увидела, что мешок шевелится... и вдруг сообразила: это человек, обрубленный почти наполовину. Замерла, узнавая... не узнавая...

Тетка Катерина ахнула:

– Марья! Иван... Твой Иван вернулся!

У матери отказали ноги. Катерина, плача, тащила ее с крыльца и кричала:

– Марья, что же ты, ну?! Ползи, Марья!

И мать поползла.

Отец тоже сделал встречное движение, но неловко завалился лицом вниз, обнял длинными руками землю перед домом, и мощные его плечи крупно затряслись.

Марья застопорилась в нескольких шагах от мужа и хрипло выдохнула:

– Иван, Ванечка где?!

Он приподнял к ней грязное лицо в светлых бороздках слез:

– Не знаю, Марья...

² Одна из улиц с. Еланка Хангаласского улуса носит имя братьев Соколовых.

³ Памятники Февронии Малгиной – матери, три сына которой героически погибли в боях, а двое пропали без вести, установлены в Якутске и в с. Баяга Таттинского улуса.

Она тонко, дребезжаще вскрикнула и тяжело уронила в песок седую голову. Так они и лежали на песчаной тропинке голова к голове, он – плотный, короткий, она – сухая и долгая, и только их руки тихо, будто нехотя, медленными змеями тянулись навстречу друг другу, пока не сплелись в один жалкий, серый, мосластый комок.

Кузнец из ближнего села смастерил отцу ловкие колесные салазки с рычажком тормоза и ременными креплениями. Отталкиваясь от земли ладонями, отец приноровился перемещаться довольно резво.

Его не взяли на ферму даже сторожем. Если в бытность разудалым Ванькой Кондратьевым он мог гужевать неделями и все ему прощалось за молодецкую удаль и веселую злость к работе, то теперь запой неугомонного калеки – пусть бывшего начальника, пусть фронтовика, – никто не хотел терпеть даже из душевного благородства. Госпособие по инвалидности отец умудрялся спустить в день доставки. Сашка отгоняла от отца собак, ожесточенно дралась с мальчишками, едва ей казалось, что кто-то смотрит на него свысока... Хотя свысока на него смотрели все, и сама она тоже.

Бражники облюбовали для сборищ пустующую избенку Мерина-Чичерина. Лесник из соседнего села, на которого после отъезда Ванечки был возложен уход за таежным участком, еле справлялся с дополнительным бременем, а чичеринское жилье с хозяйством вовсе забросил. Бегая туда за отцом, Сашка хорошо изучила ступени его стремления к беспамятству. Слегка заправившись, Иван Степанович рассказывал тем, кто не отказывался слушать, об освобожденных им городах и деревнях, читал отпечатанную на машинке партизанскую листовку. Он подобрал ее под Харьковом на лесной поляне у села Пересачного. Это было длинное стихотворное обращение к Гитлеру и вермахту, Сашке запомнились последние строки:

Скоро мы вашу рать
Заставим носом землю пахать,
Места у нас хватит
Вами болота гатить,
Говорим серьезно:
Смывайтесь, пока не поздно!
По поручению пинских партизан
Писал Солдатов Иван.

Налившись горькой до «ватерпаса», – так Иван Степанович сам называл критический рубеж опьянения, он насмеялся над потугами председателя вырвать полуразрушенное хозяйство из лап нужды, поносил нынешнего заведующего фермой, бранил все колхозное руководство. Бред отца становился все неразборчивее, надоедливее, и Сашка, как боевая лошадка, увозила его домой. В пути он трезвел, скидывал внезапно ремни, соскользывал с салазок и попластунски полз назад, бойко вихляясь ополовиненным телом, царапая дорогу пальцами, пуговицами и медалью «За отвагу».

Сашка понимала: отец ненавидит свое удачливое довоенное прошлое и по-настоящему с войны так и не возвратился. Ночью он спал плохо, стонал – колени болят... Ох как же болят колени... жилы ноют... лодыжки...

Председатель все грозился снести «пьяный домик» Чичерина, но неожиданно, к всеобщему облегчению, лесник вернулся. Выпивохы сразу забыли протоптанную к месту дислокации тропу. Исхудалый, в длинной шинели, Иван Гурьевич встретился Сашке возле ее дома – показалось, что ниже стал ростом, или это она супротив него выросла.

– Саша? – не поверил Иван Гурьевич. – Ух какая стала большая!

Спросил о брате. Сашка объяснила – потерялся, ищут по запросу. Постояли молча. Иван Гурьевич сник лицом, оно было совсем старым, аж оспин не видать – в морщинах утопли. Сказал:

– Ищут, значит, найдут.

Развернулся и пошел обратно, ссутулившись, спотыкаясь по чистой дороге, хотя спиртным от него не пахло. Руки-ноги целые, даже не хромой...

Письма Ванечки Марья носила на груди в мягкой тряпке. Сашка углядела тряпичный пакет в предбаннике на полке с бельем, и, пока мать, ухая, охаживала себя за дверью березовым веником, быстренько развернула. Там они и лежали без конвертов, блокнотные листочки с расплывшимися буквами, истерханные оттого, что их часто доставали, целовали и прижимали к лицу. Сашка могла поклясться – Марья знает эти немногочисленные письма наизусть, и с неприязнью подумала: если б какой-нибудь колдун предложил матери поменять дочь на сына, она бы, наверное, согласилась, не колеблясь, и больше не вспоминала Сашку. С возвращением отца мать почти перестала ее замечать, за день Сашке обламывалось от матери несколько слов, и то в повелительном тоне: «Поддай, принеси, сделай».

У Ивана Степановича начались трезвые дни. Обычно он сидел у печки, мял шкуры. Решил заняться сапожным делом. У него бы получилось – руки в роду Кондратьевых, все знали, были золотые.

Сашка занесла с улицы охапку дров, отец пожалел:

– Санечка, доча моя... Прости, что мужскую работу приходится тебе делать.

Марья заметила ласку, хмыкнула.

– Не сердись на нее, – шепнул он. – Мать у нас тронутая чуток, но хорошая...

Сашка присела рядом.

– Тятя, расскажи о войне.

– Что – война? – произнес отец с кривой улыбкой. – Неинтересная это штука – война.

– Но был же героизм...

– А как же, – кивнул он и вытер о культи вспотевшие ладони. – Страшный был героизм.

– Почему страшный?

Отец усталился на красно-серый пепел в открытой дверце печи, и набрякшее от попоек лицо его окаменело. Сашка уже думала – не ответит, а он заговорил. Медленно, трудно, будто слова выдавливались изнутри без всякого его желания.

– Сраженье было раз в украинском селе... Там один молодой солдат наш, пацан еще, отвоевался. Герой... Истинный герой... был. Кончился бой, и сидит он, помню, на бруствере, руки вперед вытянул – зовет... Маму зовет... Глазницы пустые... а глаза его, Санечка... глаза его, чисто бусины голубенькие... на жилках по щекам висят – взрывом вышибло...

Прикрыв лицо ладонью, отец дернул другой рукой рычажок тормоза и поехал к двери. Прихватил с лавки телогрейку, шапку, перебрался через порог, напустив в дом зимнего тумана... Ругая себя за праздные вопросы, Сашка хотела броситься за ним, и остановилась, потрясенная сдавленным окликом Марьи:

– Доченька!

В первый раз за всю свою двенадцатилетнюю жизнь услышала Сашка от матери это слово. Марья сидела на табурете с бледным, известковой белизны, лицом и простирала к Сашке руки, как тот ослепший солдатик.

– Доченька, – повторила мать, больно прижала Сашку к себе и разрыдалась.

Вскоре стало известно: Ванечка погиб в бою за польский город Калиш. Сашке о гибели брата сказал отец. Мать то ли сожгла письмо с известием, то ли так далеко спрятала, что больше бумагу не видели. Сашка, по крайней мере, не видела, как и шоколад с чудным нездешним запахом, в коричнево-алой обертке с иностранными буквами.

Дровяник не сотрясся от воя Марьи. Она, кажется, не поверила в смерть Ванечки и не плакала из суеверия – чтобы не накликать. Но взяла лучшую карточку сына и съездила в город заказать в фотоателье его портрет. Повесила потом над кроватью рядом с иконой Богородицы с маленьким Христом на руках и ярким рисунком в рамке, подаренным ей школьником Ванечкой, – синие цветы в небывалой красоты вазе.

В один из святочных дней Марья велела Сашке снести в проветренную после топки баню настольное трюмо. Отправилась туда к полночи, а любопытная Сашка уже ждала: легла на верхний полок и схоронилась под кучей ольховых веток. Марья прикатила кадущку, поставила ее на попа в углу и, взгромоздив трюмо, зажгла с двух сторон его створок белые свечи в медных подсвечниках. Сама села на низкую лавку и погасила коптилку, с которой пришла. Изумленная Сашка приподняла голову на локтях – острые глаза ее узрели в центральной части трюмо, поверх головы матери, уходящий вдаль коридор – высокий, с длинными черными стенами, но светлый, – весь в свечах, точно храмовый.

Заметно волнуясь, Марья кинула в прозрачный стакан что-то маленькое, блестящее. «Кольцо», – догадалась Сашка и вздрогнула от тревожно зазвеневшего голоса матери:

– Господи, прости мя, грешную, прости глупую... – Марья перекрестилась, кланяясь лицом кому-то невидимому в угол. – Иван Гурьич говорит, обшибка, видать, вышла с похоронной-то бумагой. Военные часто обшибаются. Живой, поди, Ванечка. Может, в плену был, а домой не пускают, и письмо написать нельзя. На пленных-то наши худо смотрят, не жалуют... и где теперь мой сыночек?..

Сашка оцепенела в своем тайнике, боясь пальцем шевельнуть. Тяжкая тишина сгустилась в бане, только сквозь клубящийся под потолком пар падали с прокопченных балок горячие капли. Через минуту напряженный слух стал улавливать непонятные шорохи, скрипы, мышинный писк; в висках застучало. Марья сидела неподвижно, вперив немигающие глаза в зеркальную бездну. Одна капля дзенькнула на днище кадущки перед стаканом.

– Где Ванечка? – всхлипнула мать.

И вдруг...

Забыв обо всем, ошеломленная Сашка протерла лицо ладонями: в сердцевине золотистого отражения смутным пятном проявился какой-то горб, темно-серый, как обтянутая дерюжной рубахой грудь лежащей женщины. Марья глухо вскрикнула и зажала рот рукой. Округлый горб сделался более отчетливым, проступил из глубины сияющего коридора, словно послушался чьего-то зова, двинулся наружу с потустороннего дна и, наконец, ясно обозначился холм... Не дерюжный. Земляной.

Замерцали свечи, трепеща огнями на неведомом ветру, из жерла каменки взвевался жаркий пепел, и волосы Сашки поднялись дыбом от нечеловеческого рыка и рева. На пол и стены обрушился дикий грохот. Чудилось, банька, хлопая дверью, кривясь косым сиреневым окошком предбанника, заходила ходуном. В свете одной устоявшей свечи Марья, страшная, косматая, с разверстой в крике черной дырой рта на свирепом лице, колотила деревянными остатками трюмо о нижний полок, не замечая, что руки ее изрезаны и весь пол усыпан кровавыми зеркальными осколками.

Кто-то забарабанил в дверь снаружи. Медвежья тень матери метнулась в предбанник, и ветки ввером взлетели над Сашкой, – она выпрыгнула с полка, мать как раз пинком распахнула дверь, с щепой выдрав накиннутый крючок... Салазки отца кувыркнулись с крыльца в сугроб. Выскочив из бани, Сашка понеслась по тропе, подгоняемая собственным визгом и жуткими воплями Марьи.

Дома на столе горела лампа, было тепло и как-то кошунственно уютно. Сашка сползла по стене, задыхаясь, посидела на корточках и снова вышла в сенцы. Луна светила ярко, в полную силу отраженного блеска, смотрела вместе с Сашкой на Марью, волокущую с задворок отца. Бешено елозя на салазках, он лупил ее по чему придется одним из крепежных ремней.

Она тоже била его куда попало темными от крови руками, не делая попыток заслониться от ударов и голося монотонно, гулко, как в бочку:

– Мой сынок, о-о-о! Ванечка погиб... а ты-ы-и! Ты-ы... Заче-е-ем, за что, боже-е?!

– Дай подохнуть! – надрывно, со слезами кричал отец и обзывал мать такими гадкими словами, каких Сашка никогда от него не слышала. – Дай околеть спокойно! Ванька и мой сын, забыла? Или ты от Чичерина его родила?!

Покачиваясь, полоща воздух окровавленными ладонями, Марья внезапно расхохоталась с безумным подвывом.

– А-ха-ха-ха! Я! Я от Чичерина родила! Ха-ха-ха-ха! От скопца! Дивитесь, люди, баба в кои-то веки от бесснастного родила!

Хлестнув отца по щеке, она захлебнулась рыданием и с размаху уселась в сугроб.

– Безмозглая курица, я любил своего сына так же, как ты! – крикнул он, утирая с лица рукавом кровавую печать, и подал жене руку. – Вставай, замерзнешь... Вставай же! Господи, какого лешего я женился на этой дуре?!

Мать поднялась с его помощью, перехватила ремень и потянула отца к дому...

Иван Степанович с полным правом оплакивал сына почти месяц. Отметился в каждом дворе, дерзнул к председателю прокатиться, и тот не прогнал, поднес рюмку белой за помин.

К маю Марья тайком от мужа настояла в бане лагушок⁴ браги со зверобоем. Утром девятого, в день рабочий, но с митингом, напекла капустных пирожков. Переделалась вечером в праздничный черный жакет, накинула черный платок и пошла на сельсоветскую площадь. Сашка ежилась, чувствуя неловкость из-за траура матери в принаряженной толпе, но ничего дурного не произошло, не одна Марья была в черном. Председатель прочел доклад, ему недолго хлопали, в нетерпении ожидая основной части мероприятия. Марью среди многих наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945», пода-рили ордер на одежду, и Сашка за свой труд удостоилась грамоты с орденом.

Дома, почуяв неладное, мать поспешила в баню. Навстречу ей с бидоном нацеженной браги ехал отец.

– Смыться собрался, – загородила тропинку Марья.

– А то, – отец задиристо вздернул к ней виновато-испуганное лицо. – Нонче мой день!

Резко выдернув дужку из его ладони, Марье удалось завладеть бидоном.

– Дура-баба! – заорал Иван Степанович и безуспешно попытался поймать ее за летящий подол юбки. В кухне мать безмолвно водрузила бидон на буфет и спокойно достала с полки миску с ароматными пирожками. Перевалив через порог, отец из вредности придвинул к буфету скамью, два табурета и лавочку.

Марья готовила на стол, с мстительной улыбкой наблюдая за потугами мужа. Не выдержала, съязвила:

– Ох и посмеюся же я, когда ты лететь со своей каланчи будешь!

Иван Степанович в сердцах сплюнул на пол:

– Я уйду от тебя сейчас!

– Уходи! – закричала Марья. – Ужо от ярыжника⁵ ослобонюсь!

– Вот и ладно, – зловеще скривился он. – Но не думай, я судиться буду. Здесь мое все!

– Твое?.. Ага, Ванька Кондратьев, твое! – Марья пошла на него, уперев руки в бока. – А не чичеринское ли? Не скопцовское ли? Или поблазнилось мне, что ты полдня план сочинял, как у Ивана Гурьича добро-то ловчее к себе прибрать?!

Стараясь держаться прямо, отец крутанулся на колесах салазок и увидел прижавшуюся к стене Сашку. Пробормотал в сторону:

⁴ Лагушок – большая деревянная емкость с краником.

⁵ Ярыжник – беспутный человек, пьяница.

– Хоть бы не при дочери на отца клеветала, кобыла старая...

– Я – старая? – зашипела Марья над его плешивой макушкой. – До молодух тебе слинять неймаз? Да только кому ты нужен-то, полчеловека!

Щеки и шея отца налились свекольной краснотой. Оттолкнув жену, он мощным рывком перекинул себя с салазками к буфету и, не успевшая она опомниться, уперся в него спиной. Истошный крик Марьи потонул в лязге и дребезге посуды, вывалившейся из распахнутых дверок. Бидон весело проплясал к краю и, оросив кухню терпким мутным дождем, загремел по столу.

– Скотина ты-ы! Бык ты-ы-и! – Марья вцепилась в остатки отцовских волос.

– Выйди, Санька, не смотри! – сорванным заячьим голосом, словно дурачась, заверещал отец и сцапал мать поперек живота.

Вылетев во двор в платье, Сашка поняла, что скоро озябнет. На улице было ветрено и совсем еще светло. Залезла на чердак и зарылась в невыделанные шкуры, собранные по деревне так и не сбывшимся сапожником.

Где-то кричал мужчина – то ли отец внизу, то ли ветром с дороги принесло:

– Нале-во! Шагом... арш!

Сашка завернулась, как могла, в жесткую волчью шкуру мехом к себе и прильнула к пыльному чердачному окну.

– Ать-два, ать-два! – По дороге, уже просохшей от луж и не пыльной, кое-как поднимая больные колени, маршировала в солдатской пилотке тетка Катерина. Дядя Кеша шагал позади, приставив к затылку жены дуло охотничьего ружья. В лучах позднего солнца ярко сверкали на гимнастерке боевые награды. Сашке хорошо было видно сверху раскрасневшееся, довольное лицо пьяного соседа.

– Кру-гом! – скомандовал он. – Лечь! Встать! Лечь! Встать! Вста-ать, кому сказал!

Тетка Катерина становилась на карачки, тщетно сясь подняться, и раздавалась новая команда. После нескольких честных попыток исполнить приказ Катерина схватилась за поясницу и осталась лежать лицом вбок.

– Стреляй, вражина... – донесся ее осипший от плача голос.

«Учения» завершились. Поддерживая жену за пояс, дядя Кеша потащил ее, обезноженную, домой.

Сашка прислушалась к звукам внизу. Подозрительная тишина заставила ее спуститься с крыши.

Родители мирно беседовали за столом, закусывая брагу пирожками. Весь дом провонял тошнотворным духом кислого сусла и перебродившего со зверобоем зерна. Сноровистая Марья умудрилась за короткое время прибрать разбитые тарелки, подтереть полы и сгонять с бидоном в баню. Сашку не удосужилась кликнуть, хотя наверняка видела, что дочь убежала в одном платье. Ощущая свою ненужность, Сашка тихо проскользнула в свою каморку и, не раздеваясь, легла в постель.

Почему-то вспомнилось, как Марья припрятывала для Ванечки конфеты, подвигала ему за столом вкусные кусочки. Покупала сыну городские рубашки, забывая о том, что обмались Сашкины платья, пошитые из старья. «Ванечки не стало, кого теперь матери любить-то? – страдала Сашка. – Я ей лишняя, тятя – калека...» Плакала, жалея всех, особенно мать, и, противореча себе, мечтала, как вырастет взрослая и родит девочку матери назло... Тогда и дернулась слева в груди, болезненно затрепетала тонкая ниточка, – не оборвалась, слава богу, но будто бы попросила не теребить, не надсаживать сердце обидой.

В передней отец снова гневно возвысил голос:

– Дай, говорю!

– Нет, – громко отрезала Марья.

Сашка спрыгнула с кровати, подобралась в носках к занавеске и чуть приоткрыла с угла.

Марья, прямее некуда, сидела на табурете, отец слез зачем-то с салазок и, обхватив ее колени, пожаловался:

– Мне эта бражка как морю капля.

Выпростав ноги из кольца мужниных рук, мать встала к нему спиной у окна.

– Негде водки сейчас купить.

– Касьянчиха самогон продает, – встрепенулся он. – Недорого... Мать, ну не будь жмотиной, дай. Получу пособие, верну, ей-богу. Мать, ма-ать...

Марья гневно обернулась.

– Не смей называть меня так!

Отец откинулся к ножке стола.

– И впрямь, чего это я... Кому ты мать? Сашка... А где Сашка?!

– Спит давно, – презрительно усмехнулась Марья. – Залил zenки-то, да и проворонил, как к себе шмыгнула. А ее трудно не заметить, здоровая стала девка.

«Надо же, видела меня», – удивилась Сашка. Отец бухнулся в салазки и, подкатившись к Марье, запорошил к ней умоляющее лицо.

– Мы с тобой помянули сына. Это правильно. Но пойми, я – солдат. Я защищал Родину. Дом свой защищал, тебя, дочь. Не один я, другие тоже, и те, кто погиб, защищали своих и землю нашу. Имею я право сегодня выпить за помин погибших товарищей?

Марья отступала от отца, пятясь, выдирая подол из его цепких пальцев.

– Нет, ты мне скажи, жена: имею или не имею?!

Остервенело выдернув из-под кофты, из лифчика бумажную купюру, мать выкинула ее в середину комнаты:

– На, бери, напивайся!

Отец подскочил на култых, взмахнув рукой, но словить деньги на лету не удалось, и рухнул на пол. Вывернувшиеся салазки швырнуло от толчка в порог и перевернуло. Искося глянув на них, отец пополз к деньгам, бормоча:

– Прости, Марья, я виноват перед тобой... Всю жизнь тебе испоганил... Если можешь, прости... Зачем ты вышла за меня? Господи, лучше бы меня убили!

До вожденной бумажки осталось руку протянуть, а он вдруг забился лбом об пол, с надсаженным стоном выталкивая из горла судорожные обрывки слов:

– По... че... не... у... би... ли... Гос... поди!

Мать упала рядом с ним на колени, прижала голову отца к своему животу и заплакала, замотала распустившейся седой косицей:

– Нет, Ваня, нет, нет, нет, нет, нет...

Сашке не спалось и ночью. Повертевшись на постели, она вышла, попила воды из ковша и, проходя мимо комнаты родителей, замедлила шаги.

– Дай, – просил отец.

– Нет.

– Ну дай...

Голоса были тихие. Сашка сначала подумала, что отец снова требует денег на выпивку. Но вдруг поняла...

– Не дам, – игриво сказала мать. И захихикала.

Прижав ладони к жарко полыхнувшим щекам, Сашка бросилась в каморку. «Боже, неужто они до сих пор... Такие старые... Как... отец же безногий!» Она нырнула в постель, сжала уши ладонями, чтобы не слышать шепота и скрипа в соседней комнате, а с мыслями ничего не могла поделать – они лезли к ней, стыдные, глупые, горячие, заставляя стискивать зубы, жмурить глаза, обливаться под подушкой слезами и потом.

...На следующий год, когда отменили карточную систему, а в стране опять случился неурожай, и в магазинах было шаром покати, но начали продавать водку, Иван Степанович

отправился за ней зимой пьяный и поморозил одну из культей. Начался огневец, везти в городскую больницу стало поздно...

Дядя Кеша, славный плотник, выстругал соседу гроб в полный рост, с учетом несуществующих ног. На отца натянули купленные Марьей у спекулянтов брюки, набили их сеном и надели начищенные ваксой кирзовые сапоги. Сашка удивилась, каким, оказывается, он был высоким. Совсем не помнила его с ногами. Всю память о нем, довоенном, перебили салазки на колесах и мощные руки с каменными, несмываемо серыми запятками на ладонях.

Марья не плакала, но глаза ее запали и совсем потеряли свой яростный синий цвет. Сидя после поминок у печки, она, не курящая, вдруг задымила папиросой из оставшейся отцовской пачки «Беломорканал» и, с глубоким отвращением глянув на Сашку, проговорила:

– Как же ты на него похожа.

Сашка оскорбилась. Не потому, что действительно смахивала на отца внешне, а из-за того, что нравом – негибким, упрямым, самой себе обременительным в скрытном своем одиночестве, постылым и неизменчивым нравом – она походила на мать.

Временами Сашке стал сниться приземистый, широкоплечий отцовский силуэт, катившийся в салазках по песчаной дорожке встреч алому, как знамя, рассвету. А на дорожке больше не было дрожащих на ветру березовых теней в медовых пятнах. Марья срубила красивые березы в палисаднике, – сказала, что застыт солнце, и под окнами вольно разрослись ядовито-зеленая, узорно вырезанная крапива и ушастые лопухи.

Сашка думала о странной связи живого и мертвого, что без конца перетекает одно в другое. Умерли Ванечка, отец и березы, и все умрут. Она, Сашка, тоже когда-нибудь исчезнет, а жизнь будет продолжаться, будет идти вперед к всеобъемлющему коммунизму и счастью. Появятся новые люди, не знающие войны... Все изменится, уже меняется, – на пасеку прилетели молодые пчелы, приручились и начали давать мед. Мать увлеклась пасечной работой, рассказывала о пчелах, как раньше Ванечка, радовалась: жимолость щедро зацвела, даст хороший взяток...

Иван Гурьевич редко выходил из своей избенки – болел очень. Руки-ноги целы, а живот, оказывается, был разворочен осколком снаряда. Марья ходила лечить Ивана Гурьевича, звала в большой дом, – принадлежавший ему по справедливости, по наследству от старых скопцов. Но Чичерин не захотел, так и умер в избенке. Марья горевала, что в конце жизни Иван Гурьевич перестал верить в бога. И в настоящего бога, и в своего неправильного, скопческого... А сама Марья каждый вечер стояла на коленях у кровати перед иконой Богородицы с Христом, портретом Ванечки и синими цветами в рамке.

Сашка знала, о чем молит мать Богородицу и Бога. Марья просила, пока она еще в силе, чтобы дочь поскорее вышла замуж и родила сына, а ей – внука.

По прозвищу Трансформатор

В деревне построили новую свиноферму, и Сашка пошла туда свинаркой. Дурного хавроньяина запаха в чистом здании почти не ощущалось. Чушек мыли из шлангов, не то что прежде, когда от смрада щипало глаза и жижу выгребали лопатой. Подача пищи была автоматизированной, кормили животных неделю густо, неделю жиденько на оброте для переслойки сала мясом. Работа Сашке нравилась, досаждали только здешние парни, избалованные молодайками. Однажды привезший обрат шофер ущипнул ее за ягодицу и, получив от души, весь день ездил с задраным кровоточащим носом. Этот шофер и придумал Сашке прозвище – Трансформатор, имея в виду устрашающий знак «Не влезай, убьет!». Таблички с таким предупреждением висели на опорах ЛЭП и дверях трансформаторных будок в райцентре, который недавно электрифицировался. Ну и пусть Трансформатор, думала Сашка, зато отстали.

Суровое поведение окутывало Сашку, как кокон зреющую бабочку, поэтому она была возмущена, когда председатель определил к ней на постой мужчину – городского агитатора. Общество «Знание» по просьбе совхозного парторга отправило его на лето в село для повышения политического и научного уровня сельчан. Вслух Сашка, конечно, негодования не высказывала. Единолично занимая большой родительский дом при нехватке жилых площадей, она понимала председательскую справедливость. А лектор при своем хрупком здоровье не мог ежедневно мотаться сюда по тряской дороге из города. Спасибо, что согласился провести разъяснительную работу в крестьянских массах, надеясь поправить слабый организм на свежих молочных продуктах. Очкастый шибздик – любой из парней походя щелчком перешибет, был он Сашке по брови, имя же носил, будто в насмешку, крупное, броское – Трудомир Николаевич Воскобойников.

В клубе открылся агитпункт. Трудомир Николаевич проповедовал против церкви, и активные школьники демонстрировали химические опыты, убеждая стариков в отсутствии ангелов на небесах. По словам агитатора, наука шагнула так широко – куда там богу, ученые изобрели даже негниющие стеклянные нитки – «стекловолокно» называются – и аппараты механического доения. Это новшество с помощью гидравлики помогало извлекать молоко одновременно из десятка и более коров. Слушатели смотрели агитатору в рот, как зачарованные. Казалось, в реку бы гурьбой двинулись на его голос, лишь бы не переставал пропагандировать за технический прогресс. В Сашкиной голове диковинным образом перемешались ангелы, домовые, атеистическая химия, гидравлика и Страшный суд, но от материного обычая креститься, садясь за стол, она таки избавилась.

Особенно рьяно Трудомир Николаевич ораторствовал перед кино. Парторг, раньше выступавший сам, помалкивал, и на хмуром его лице читалось чистосердечное раскаяние. Председатель тоже лишился возможности всласть побранить народ за срыв плана по госпоставкам. С изумлением и беззвучным гневом слушал председатель доклад о хлебном изобилии в стране: хлеб стал бесплатным в общественных столовых – это как? Деревня, значит, вкалывает, чтоб город задарма жрал?! В иных местах крестьяне все еще пахут ручными плугами, серпами жнут, а тут пришел дрыгалка и врет о фантастических агрогородах... Но начала тарыхтеть кинопередвижка, на простыне расцветали джунгли, в них запрыгивал Тарзан, и досада на шустрого болтуна забывалась.

После киносеанса Сашка шла с Трудомиром Николаевичем домой и краснела. Сзади доносился глумливый шепот: «Сашка, Сашка-Трансформатор! Не влезай, убьет!» Видела, как трепещут занавески в окнах. Агитатор продолжал витийствовать перед сузившейся аудиторией, и в голосе чувствовались проникновенные нотки. Дома он вешал соломенную шляпу на косульи рога, мыл тщательно пальцы. Берег себя – мало ли какую заразу хранили в клубе

вещи, к которым прикасался. За ужином спрашивал о прочитанной литературе, говорил о семенах разумного, доброго, вечного.

Сашка жила на свете двадцать два года с половиной, а серьезных книг читала всего две, и то в школе. Про неверную жену, которая мучилась-мучилась да и бросилась под поезд, и про парня, убившего старуху и тоже изрядно промучившегося. Ну, это не считая, разумеется, школьных сихов и рассказов-статей в разных журналах. Застыдившись, решила съездить в районный поселок, сходить в библиотеку и краеведческий музей для самообразования.

В библиотеке книг оказалось так много, что растерялась, какую взять. Подумала, может, неместным не дают, постояла немножко и ушла. По стенам музея висели живопись и графика местных художников. Цветные картины глянулись Сашке больше. Только вот женщины на двух рисунках были голые, как в бане, а ведь в музей мужчины ходят и даже школьники...

В магазине повезло попасть в очередь за голубым крепдешином в синюю крапинку. Удалось незаметно вынуть из лифчика кошелек, недавно бригада получила деньги сверх трудодней. В другом магазине Сашка купила легкие сандалеты из серой кожи, – не в кирзовых же сапогах щеголять при крепдешиновой обнове. После получился дивной красоты сарафан, светлое было Сашке к лицу.

На обратном пути ехала в кузове грузовика-попутки с молодой семьей. На коленях у мужчины сидела махонькая девочка, завернутая поверх плащика в байковое коричневое одеяло – будто сахарная пирамидка в вощенной бумаге. Женщина играла с ребенком в ладushки. Когда грузовик встряхивало на колдобинах, все трое вскрикивали: «Ой!» и смеялись.

Сашке не нравились краснощекие деревенские младенцы с толстыми ручками-ножками в колбасных перетяжках, это же дитя было сущий стебелек: от пушистых волос шло сияние, ресницы посверкивали, как золотые остица ячменя. И что-то странное в ней взыграло. Захотелось вдруг занять такое же теплое, нежное, которое целуешь, вдыхая родной запах, а оно щекотно лепечет в ухо и тонкими ручонками обнимает шею. Но чтобы непременно девочка была, не пацаненок. Сашка любила бы дочку так же, как мать брата Ванечку, погибшего на войне. Назло материнской нелюбви к ней, Сашке.

Захваченная расчетом улучшения разлапистой крестьянской породы, она ни на ком из парней не остановилась. Неширок оказался выбор: либо кряжистые увальни с мясистыми лицами, либо каланчи долговязые – Сашка сама была не из маленьких. Да чего от себя таиться! Ведь сразу пригляделась к постояльцу. Приметила под очками большие умные глаза цвета песчаного дна в речной тени, нос не картошкой кверху – пряменький, аккуратный, руки изящные. Холеные нерабочие руки с узкими ногтями...

Через неделю Сашка поняла: куда направится агитатор, туда бежит-торопится ее взгляд. Смотрела, слушала – любовалась. Слова слетали с губ Трудомира Николаевича округлыми стружками, тема отшлифовывалась обстоятельно, гладко, как Буратино... Вот только зря агитатор облачился в бордовый джемпер, опасаясь вечерней прохлады. Быкам же что бордовый, что рудый – все равно красная тряпка. Тем более Вахлаку, который свирепел даже при виде пионерского галстука. Быка держали на ферме в стойле, раз в день выводили гулять, а тут кто-то вольно выпустил. Сашка вовремя оглянулась на топот. Не растерялась, схватила агитатора под мышки и закинула на городьбу, а оттуда он сам выше на березу забрался. Покричал, пока Сашка на рогах у бугая моталась, лупя его в шею ногами, – помогите, помогите! Вахлак умудрился за юбку ее подцепить, когда она тоже на городьбу лезла. Чуть не умерла от стыда – юбка задралась, ляжки в трусах наголе! Случилось это, к счастью, близко от клуба, парни примчались мигом, навалились гуртом на бычину и сняли Сашку с рогов. Она – в кусты, спасители – в хохот, агитатор схоронился в ветках. Увели взмывающего Вахлака, и лишь тогда слез с березы. Подал руку, влажную от испуга: «Спасибо вам... Не поранились?..»

Не поранилась. Ссадины с синяками на спине остались, – Сашке с детства не привыкать, она такие мелочи ранами не считала. Больше думала, что опозорилась с трусами перед

Трудомиром Николаевичем. Хорошо хоть не порвались у него на глазах. Спасибо нетеплому вечеру и материной юбке из крепкой диагонали, и что решила надеть ее со старым свитером. В сарафане-то плоше бы пришлось. Однако и тут не страшилась – не впервой лягаться с порозами⁶. Огромные хряки, быков не меньше, бывало, сбегали с летника, растелешатся на тракте и машин ничуть не боятся. Начнешь подымать хворостиной – норовят сбить с ног и кусаются не меньше собак. А Вахлак известный задира, но никого еще насмерть не проткнул...

В этот вечер растроганный Трудомир Николаевич необыкновенно разоткровенничался от благодарности. Рассказал о «закрытом» письме в обком со штампом «секретно» и о докладе Никиты Сергеевича Хрущева на XX съезде КПСС. Высокие партийные люди проголосовали за одобрение письма. Из-за него, из-за секретного послания ЦК, даже экзамен по истории в школах отменили.

Агитатор сам не понимал, зачем говорит это малосознательной девушке, но старался подбирать слова проще, у него был богатый опыт бесед с невежественными крестьянами. А Сашка сидела с сияющими глазами, с глуповатой улыбкой и почти ничего не слышала. Любовалась Трудомиром Николаевичем, какой же он красивый и как много знает.

– Человек взял на себя все руководство, – вещал он между тем. – Лично управлял всеми сферами советской деятельности, даже языкознанием. Мы были как крепостные в его частном владении. Теперь люди будто проснулись от тяжелого сна. С сельчан сняты налоги за каждого цыпленка, жизнь понемногу налаживается. Сталин...

– Сталин? – встрепенулась Сашка.

– Так я же о нем вам минут десять толкую, – удивился он с легким укором.

– При Сталине хорошо было, – сказала она. – Цены в магазине быстро падали.

Вспомнила, что и водка год от году дешевела. Отец-инвалид, приученный на фронте к «наркомовскому» спирту, от той подешевевшей водки и помер.

– Хороший был Сталин, но и Никита Сергеевич хороший. Паспорта нам скоро обещали выписать.

Агитатор был разочарован. Верно говорят, что какая бы тоталитарная власть над народом ни довлела, все она ему хороша. Нехороша, получается, только тем, кто сам хочет стать властью, эти и баламутят.

Глубоко вздохнув-выдохнув, он прогнал из головы крамольную дурь. Дожинали в молчании.

Храбрая, конечно, девушка, размышлял агитатор, – будто женщина из знаменитого некрасовского стиха, но дремучая. На редкость темная. И с чего вдруг на него нашла исповедальная проруха?..

А Сашка в это время думала, как его обольстить, да так ничего и не придумала. Никогда же охмурением мужиков не занималась. Трудомир Николаевич – мужчина культурный, женатый и по натуре интеллигент, не бабник. Не особо на нее смотрел и обращался все на «вы» с вежливыми «извините-спасибо-пожалуйста». Поэтому Сашка просто пришла к нему ночью и легла рядом в тоненькой батистовой сорочке. Вот тут-то с него вся культура и слетела, как осенью листья.

Собственные действия пошатнули Сашкино лучшее о себе мнение, но поступить иначе она уже не могла. Во-первых, поздно, во-вторых, надо. Агитатор же, забыв обо всем, совершал свою мужскую работу добросовестно и со знанием дела. Сашка одновременно ругала и хвалила свое нахальство. От испачканной сорочки и самого акта ей стало стыдно, противно до тошноты. Побаливало в укромном месте. Тем не менее, досадуя на неопрятность человеческой природы, мылась Сашка под утро осторожно, чтобы ненароком не смыть агитаторское семя.

⁶ Пороз – бугай, бык.

Больше она в агитпункт не ходила, и Трудомир Николаевич явственно охладел к ораторскому искусству. В кино перестал оставаться, спешил домой. Ночи близости казались Сашке священными, и по привычке она к нелекторскому усердию постояльца. В каждой артерии и малой венке, каждой каплей крови ощущала льющиеся в нее семена. Ждала, когда закрепится в лоне одно, освоится, пустит корни, как ячменное зернышко, и взрастет дивным плодом – крохотной девочкой с нежным запахом и вспархивающими золотыми ресницами. И в одну прекрасную ночь зернышко закрепилося. Сашка сразу это поняла по впервые испытанной щемящей дрожи, унесшей ее тело высоко-высоко на небесных качелях. «Счастье», – подумала тогда Сашка.

К отъезду квартиранта она чисто-начисто отскоблила все наросшие к нему чувства. А он как раз созрел до объяснения.

Агитатор с сожалением покидал покладистую хозяйку. Здоровая, юная, она словно вернула ему часть собственной молодости. Готовила много и вкусно. Но супружеский долг, пулей засевший в сердце, требовал возвращения к вареным всмятку яйцам и протертым супам. Не мог Трудомир Николаевич морально идти против того, за что агитировал людей. Не мог нарушить великую советскую идею семейных ячеек, прочными сотами связывающих государство в единое, нерушимое целое. Сашка вкусно пахла подсолнечными семечками и свежим березовым веником, но законная супруга все же была фундаментом агитаторского существования. Она руководила крупным товароведческим ведомством, имела какой-то тайный побочный доход, – в детали Трудомир Николаевич из партийной брезгливости не вдавался и уважал в жене делового человека. В общем, возможности у нее были большие. Жена презирала других за то, что они видят яблоки по штуке в год в детском подарке, и Трудомир Николаевич слегка это презрение разделял, когда ел редкие фрукты чаще, чем остальные мясо. Да и мясо... тонко прокрученные котлетки на пару, полезные телячьи отбивные... Самое же главное – центральное отопление, водопровод и санузел. А здесь что? Примитивная изба с русской печкой. Деревня от слова «дыра». Деревня...

Но был, чего перед совестью юлить и прятаться, был момент, когда чуть не отказался от благоустроенной жизни. Чуть не вздернулся, как влюбленный сопляк: «Бери меня, я – твой!» Застопорился, слава богу. Бог ни при чем вообще-то, просто фигура речи. Распрямившись, Трудомир Николаевич нашел в себе силы сказать:

– Извините, пожалуйста, Александра Ивановна, я при всем желании не могу у вас остаться.

В первый раз ее назвали полным именем-отчеством, Сашка аж вздрогнула. А он, оправдываясь, принялся объяснять, что все понимает, но видите ли... институт брака и семьи... пятнадцать лет жизни с женой... Пятнадцать лет – это целая эпоха общих интересов, поездок, друзей, эти годы не забыть, не выбросить... и тэ-дэ, тэ-пэ. Обычное красноречие, к собственному изумлению, едва ему не изменило, и голос мгновенно охрип.

Хозяйка сидела тихо, погруженная в себя. Вид у нее при этом был странный, словно не рвались навсегда отношения, а на какой-нибудь курорт человек ненадолго собрался. Или там на охоту-рыбалку. Трудомир Николаевич не без ужаса ожидал слез, крика, фальшивой гордости – что еще в таких случаях извлекают женщины из своего арсенала? Но Сашка ответила на агитаторскую тираду с обидно естественным безразличием:

– Езжайте, я же не прошу вас остаться.

Грех с виноватой души агитатора был как бы снят, но ответ действительно обидел. Даже потряс. Трудомир Николаевич сильно напрягся, готовясь достойно встретить некрасивые женские эмоции и красиво настоять на своем, поэтому колющую боль обиды почувствовал сердцем. Если б он в этот момент смотрел в лицо Сашки, он бы, наверное, совсем оскорбился в своих переживаниях, потому что лицо ее было ликующим. Но смотреть он не смел и не подозревал на ее лице такого упоенного выражения, а спрашивать, о чем думает женщина, не вхо-

дило в его привычки. Трудомира Николаевича обуревали свои чувства, ее – свои, и особых новаций в Сашкином настроении, кроме некоторой заторможенности, он не заметил. Впрочем, и не понял бы тех разноцветных капроновых лент, кружев, оборок и сверкающего ячменного счастья, что радужно искрилось и реяло в ее умиротворенной душе.

– Что ж, прощайте, Александра Ивановна, – сказал агитатор. Фраза почему-то прозвучала вопросительно, и его внутренне перекосило от недовольства собой.

Отбывал он, раздираемый противоречивыми чувствами, недоумевая, как могла случиться с ним эта дурацкая смесь агитации и блуда. Заставлял мысли работать в уничижительном направлении. Сущая деревенщина, ни культуры, ни интеллекта. Тщетно пытался достучаться до любопытства к науке, к технической революции, все мимо ушей. Таких не образовывать, сколько ни сей семян мудрого, доброго... «Молодая, ядреная, а лежала подо мной бревно бревном», – и как только мысли подчинились правильной линии, сердцу полегчало.

...Трудомир Николаевич пока не знал, что в душном ночном аромате болгарского розового масла – любимых жениных духов – его в скором времени начнут преследовать примитивные запахи семечек и березового веника. Что будет он в томительной неудовлетворенности ворочаться в постели рядом с супругой, а она с невинным самодовольством станет воспринимать его сердечные муки на свой счет.

Позже, вспоминая большое застенчивое тело Александры Ивановны, агитатор обвинял себя в том, что не сумел разбудить ее для настоящей любви. Иногда думал, с кем же эта Ева доедает свое недокушенное яблоко, и, дивясь налетавшему урагану ощущений, умирал от ревнивых всполохов. Ненадолго разыгрывала шальная мысль съездить к ней. Остаться, может быть... Но нет... нет! Центральное отопление и санузел держали крепко.

Несколько лет спустя Трудомир Николаевич все-таки побывал в памятном селе. Машинально проговаривая текст, шарил по толпе глазами в надежде высмотреть румяную молодую женщину со змеящейся по спине, круто плетеной косой. К концу лекции утвердился в мысли развестись с супругой. В молодые годы она не хотела рожать, а когда такое желание возникло, выяснилось, что зачать больше не в состоянии. Трудомир же Николаевич еще мог, еще полон был тяжелого меда для создания цельной ячейки в сотах советского общества. В идее продолжения рода он с Александрой Ивановной оказался тождествен, но не предполагал, что разошелся с ней в сроках.

После лекции агитатор отозвал председателя в сторону и, волнуясь, спросил, проживает ли по-прежнему в большом своем доме Александра Ивановна Кондратьева.

– Это еще кто? – озадачился председатель. – Кондратьевых у нас много... А-а! – хлопнул себя по лбу, – Сашка, что ли? Да, Сашка Трансформатор! Вы ж у ней одно лето квартировали! Так уехала она. Почти сразу, как вы тогда отчитались, уехала, а дом соседу продала.

– Почему... – пробормотал Трудомир Николаевич. – Почему Трансформатор?..

Председатель засмеялся.

– Ну так она ж недотрога была! Ребята сказывали, чуть щипни ее – могла со всей силы врезать. Одному нос сломала... Дикая. Потому и Трансформатор – «Не влезай, убьет!»

Гостинец для Терешковой

Сашка не думала о себе как о женщине фригидной, она и слова такого не знала. Его тогда вообще мало кто знал, в основном узкие специалисты, чей звездный час еще не наступил. Людям было не до секса, люди строили к 80-му году коммунизм, который в результате неустанного труда обещал удовлетворить каждого по потребностям.

Независимо от личного прошлого и общего будущего Сашка втиснула свои плотские желания так глубоко, что взойти обратно они не смогли бы, – так не может подняться к доброму хлебу скисшая опара в квашне. Вложенные природой в Сашку телесные позывы сконцентрировались в летнем месяце сожительства с постояльцем – городским агитатором, этого ей оказалось достаточно. Правда, было раз во сне, что кто-то большой и сильный (не агитатор) властно принялся мять ее ослабевшее от удовольствия тело, и Сашка взлетела на невидимых качелях вверх, вверх до звездного свиста в ушах. То же чудесное чувство полета она испытала однажды в «агитаторскую» ночь и считала это прекрасное мгновение знаком свыше – моментом зачатия. Теперь-то к чему, если уже беременная? Сашка сказала призрачному мужчине: «Ишь ты!», скинула его с кровати и пошла попить воды. Выпила во сне полчайника, а в туалет приспичило наяву. Проснувшись, Сашка рассердилась на себя за то, что ей хотелось досмотреть сон с мужчиной, и поклялась никогда, никогда... Клятвы она держала крепко. После искусаительного наваждения ее женское естество оцепенело и спустя годы, никем больше не употребленное, засохло.

Как ударнице, Сашке одной из первых вручили «серпастый-молоткастый». Когда живот полез вперед, она продала дом соседям и уехала в районный центр. Сняла комнату у тихой старушки, устроилась уборщицей в библиотеку. Читала, читала, наверстывая упущенное, да недолго. Выяснилось, что тихая старушка пьет. Не без просыху, нет, но страдает запоями и скандалит в нетрезвые дни. Пьянства Сашка не выносила. Водка угробила отца, сосед по веселой лавочке жестоко гонял жену, а последнее Сашкино терпение иссякло из-за печального случая на свиноферме.

...В магазине продавался питьевой спирт, но деньги за трудодни выдавали редко и мало, остальное зерном, поэтому почти в каждом доме варили брагу на зерне, картошке и карамели. Подмешивали для крепости зверобой, жженым сахаром добивались прозрачности, кое-кто и самогон гнал. Так бы оно продолжалось, не поступи год назад в сельсовет распоряжение из райкома прекратить домашнее изготовление алкогольных напитков. Председатель учредил ежемесячные рейды. Комсомольская дружина во главе с участковым обшаривала в поисках зелья бани и сараи. Ездили на телеге с бочкой и чохом сливали в нее всю добычу, а чтобы не пропадала зря, хозяйственный председатель велел подмешивать продукт в корм хрякам на свиноферме. У них от такого «взбадривания» увеличивался аппетит. И как-то раз новая работница по ошибке налила сборной бурды в пищеблок маткам. Те недавно опоросились и, опьянев, передавали половину поросычьего поголовья. Пожрали...

Загоны подчистили, суматоха улеглась, когда Сашка пришла на смену и увидела в одном углу крохотную ножку. Бескровную белую ножку с просвечивающим копытцем, как обломок парафиновой свечи. Поскользнувшись на покатом стоке, Сашка угодила сапогом в ручеек с бражными остатками, и почудилось ей, что ядовитая жидкость, хищно чавкнув, разъела подошву сапога, проникла в ступню, в кровь, в самую душу. Внутренности тотчас же вывернулись наизнанку, Сашку стошнило над стоком бурно, до потемнения в глазах. С тех пор она, будто мусульманка какая-то, свинины не ела, а от хмельного запаха ее начинало мутить.

Пусть бы сгорело на земле все алкашное питье синим пламенем, прости, господи. И зачем только гонят и гонят преступный градус, превращая в отраву доброе зерно... Не послушала Сашка конфузливых уговоров старушки хозяйки. Надумала рвануть в город, чтобы затеряться

в его толпах, благо паспорт есть, и деньги от продажи дома сохранились. Опасалась только ненароком встретить агитатора, но решила, что он ее не узнает в нынешнем положении, с пигментацией на щеках. Может, и не вспомнит. Оставила до времени сундук с вещами, завязала необходимое в мешок и отправилась в неизвестную жизнь.

Ни родных, ни близких в городе не было. На работу без прописки не брали. Издержав большую часть денег в гостинице, Сашка стала ночевать в автовокзале. Уборщицы за мытье зала ожидания разрешили ей спать в подсобке и делились бутербродами. Метельная зима обернулась против Сашки, но к холоду она привыкла с детства, и ребенок в ее теплоустойчивом теле не мерз. Обедала горячим супом в столовой, на ужин собирала подсохшие корки с раздачи, стыдась косых взглядов. Агитатор не соврал, – хлеб в местах общественного питания действительно оказался бесплатным. Рассчитать и растянуть остатки денег еще на месяц-полтора было несложно, но вот в том, чтобы рассчитывать наперед жизнь, Сашка оказалась неумехой.

Ее в конце концов заметила пожилая буфетчица. Покормила однажды пирожками, разговорила, поохала, а на другой день отвела к своей подруге – заведующей детского сада. Та согласилась взять бездомную истопницей, пока учреждение еще не благоустроили. Поселила временно Сашку в кладовке под лестницей.

Здание немаленькое, требовалось обслужить пять печей – кухонную и четыре круглые, обитые железом «голландки». Сашка колола-заносила дрова, следила за топками, вечером закрывала выюшки. Мыла полы в кухне и фойе так, что хоть носовым платком проводи по углам – ни пылинки. Заведующая хвалила. Если в садик заявлялась комиссия из гороно или контролеры из санэпидстанции, заполошно успевала сообщить о проверке. Сашка прятала вещи в мешок, мешок в бочку из-под капусты и на всякий случай уходила гулять по городу.

Дыша чистым морозным воздухом, говорила ребенку:

– Вот вырастешь, съездим в мое село, узнаешь, как зрелые хлеба пахнут. У пшеницы запах густой, особенно если солнце пригреет. Увидишь поля красивые. Они и зимой красивые, белые-белые, будто кто простыни постирал и сушить расстелил... – Она вздыхала. – Соскучилась я за деревней, да вернуться не к кому, и не судьба. Твое семя другое – культурное, городское, имя я тебе тоже не нашенское придумала... Ну, погодим пока с именем. Что сказать-то хочу: ты – косточка нежная, не крестьянская, а я что? А я – для тебя, мне лишь бы с тобой, потому что я твоя мама.

Сашка была уверена – дитя в ее животе все слышит и понимает.

В родильный дом она прибежала сама. Мчалась в схватках, пуча глаза и задыхаясь, как переевшая опасного кипрея кобыла. Осмотрели – и сразу на кушетку.

– Такая лошадь здоровая и тужиться не умеет, – ворчала акушерка в кобылью тему, веля санитаркам давить на живот скрученной в жгут простыней. Стесняясь обделаться, Сашка тужилась мало, физиологический процесс на людях угнетал ее сильнее, чем боль. Что – боль? Она – терпение, а терпение все равно чем-нибудь заканчивается. Чуть не погубила свою девочку, у которой уже началась асфиксия.

С перевязанным розовой лентой свертком в руках, словно просто в магазин зашла и вышла с покупкой, Сашка выписалась в никуда. Побродила, наливаясь молочным жаром, и снова потопала в садик, в успевшую захламиться техническим бараклом каморку.

Заведующая и сочувствовала, и ругала себя за жалость. Нелегальное присутствие раздражало воспитателей. Эта младенческая колоратура, эти сохнувшие за печами пеленки... На второй месяц сотрудницы не выдержали, и заведующая, вздыхая, поставила вопрос о Сашке на профсоюзном собрании.

Чего там ставить? Негодующий кворум загалдел: гнать надо, у нас не собес, не ночлежка, родители узнают – жалобу настрочат, и прощай... Заведующая дрогнула, слишком хорошо понимая, на кого тогда перекинется злободневный «прощай».

За выдворение Сашки из сада проголосовали все, кроме двоих воздержавшихся. Позвали ее, прислонилась к стене у двери. Женщины воинственно уставились на виновницу возмущения, на ребенка, а Лилечка повернула к ним личико, улыбнулась и звонко взгулила. Впервые. Собрание растерялось, стихло, момент был решающий, и заведующая почуяла слабину:

– С этим голосом как, будем засчитывать?

Воспитательницы совсем смутились, опустили глаза. Послышался чей-то размягченный вздох, и как прорвало – по-другому раскудахтались: куда их, если некуда... куда?.. однако не в холод же, на улицу... хороший хозяин даже собаку... что мы – не люди?!

И тут закричал, привлекая к себе внимание, поднялся со стула в углу единственный мужчина – сторож летней детсадовской дачи. За все время он не сказал ни слова, но воздержался в голосовании вместе с заведующей. Правда, назвать мужчиной белоголового, как копы брошенного в снегу сена, старика можно было с большой натяжкой.

– Вот чё, – сказал он задумчиво. – Спина у меня болит, – и замолчал. Такая манера разговаривать у человека, неспешная. Собрание ждало продолжения и тоже молчало, поерзывая на стульях. Он постоял, еще покряхтел, подумал и расчесал бороду пальцами. – Получается вот чё... Пора мне, стало быть, на покой, к внукам.

Женщины поняли, заволновались:

– Сможет одна-то, с грудничком?

– Далеко, вокруг только дачи...

– До автобусной остановки полкилометра!

– Смогу, – кивнула Сашка. – Я и в деревне одна жила.

– А ребенка кто... аист принес?

Заведующая шикнула на своих – совесть имейте! Но Сашка ответила спокойно и правдиво:

– Агитатора ко мне подселили. Красивый был, я и захотела от него.

Воспитательницы поняли, повздыхали. Как женщинам не понять любовь. Единодушным голосованием определили Сашку в сторожи дачи.

Домик был крохотный, вмещал впритык печь, стол и кровать. Сашка купила санки, ездила с Лилечкой на автобусе получать зарплату и в магазин. В начале лета протапливала отсыревшие корпуса, подготавливала к житью и садила картошку за усадьбой. Брала на семя сорт лорх – клубни белые, крупные, круглые, как на подбор. Всапывала сбоку грядки с огородной мелочью. На даче становилось шумно, весело, к осени опять тихо. Но нисколько не скучно. Лилечка заговорила рано, сразу вопросами.

– Смотри, доча, снег идет.

– Почему – идет? Где у него ножки?

– Про то, что движется, говорят «идет». Или плывет, если по реке.

– А птица летит?

– Летит. Про снег тоже можно так сказать. Падает на землю, ложится.

– Спать ложится?..

Снег падал, шел, летел, плыл по воздушной реке. К Новому году мама с дочкой отливали игрушки из подкрашенного льда в формочках для песочницы. Увешивали звездами и шариками сосну во дворе. Весной в хлынувшем солнце, синеве, птичьим щебете запускали кораблики на ближнем озере.

К пяти годам Лилечка научилась читать. Сашка выписала до востребования на почтамт журнал «Веселые картинки». Не стало ничего милее для нее, чем слушать Лилечкино чтение вслух. Любовалась, замирая от благоговейного трепета, – русский мой стебелек, семя нежное, интеллигентское, цветок белый... Господи, мать Божия... За что мне такое счастье?!

Проблемы начались, когда дочь пошла в первый класс. Сашка на санках отвозила Лилечку к остановке, укутывая поверх пальто в телогрейку, из школы забирала сама с той же телогрейкой и санками. Анемичная девочка часто хворала, дважды лежала в больнице. Врачи неделями не могли сбить температуру. Сашка боялась обезвоживания, страшных осложнений, мысленно нападала на врачей с упреками, – случись что... о чем невозможно подумать, разметала бы к чертям всех... и мысленно же благодарила, когда Лилечку выписывали в удовлетворительном состоянии.

В ту трудную зиму и влетела в жизнь маленькой семьи космонавтка Валентина Терешкова. Случилось это орбитальное действие не во сне Сашки, но, конечно, и не перед глазами въяве. Просто в оставленном кем-то на даче журнале «Крестьянка» обнаружился адрес Комитета советских женщин, а председателем его оказалась Валентина Владимировна.

Сашка ночь не спала. Думала, думала... Под утро написала в Комитет письмо с обращением к знаменитой женщине. Обыкновенное письмо, как если бы открыла подруге мечту свою номер два – о комнате в общежитии. О мечте номер один – укреплении слабого здоровья Лилечки – не упомянула, хотя одно здесь вытекало из другого: жили бы в теплой городской комнате близко от школы, не мерзла бы дочка, и было бы у нее и здоровье.

Не особо Сашка надеялась на ответ. Занятой Валентина Владимировна человек, ей в работе, поди, и чаю попить некогда. Но вдруг прикатила на дачу детсадовская дворничиха с письмом на адрес детского сада «Кондратьевой Александре Ивановне». Сашка, не веря, распечатала длинный конверт. Прочла отпечатанное на бланке горсоветовское приглашение: такого-то числа в такое-то время ждем вас...

В горсовете ее не то чтобы ругали, но говорили и допрашивали строго: кто написать надумил? сама сочиняла-жаловалась или под диктовку? Сашка перепугалась – никто... сама... не жаловалась...

А потом!.. Потом чуть в обморок не рухнула: вручили ей ордер и ключи от квартиры! От двухкомнатной квартиры в благоустроенном каменном доме – таким витиеватым образом знаменитая на весь мир покорительница Вселенной стала для Сашки поистине космическим другом, облеченным властью исполнять мечты.

... Впоследствии заведующая, имевшая связи в начальстве, рассказала, что из-за Сашки в горисполкоме поднялся настоящий сыр-бор. Вернее, из-за послания, поступившего из Москвы, с подписью В. В. Терешковой, космонавта и председателя Комитета советских женщин. Непосредственные участники переполоха решили сперва поискать дерзкой мамаше комнату в каком-нибудь ведомственном общежитии. Сашка, разумеется, и тогда бы рада была до небес, ведь мечта ее номер два не смела двинуться шире комнаты. Но в послании горсовету говорилось именно о квартире – «достойном жилье, квартире для советской труженицы». Комитет мог предпринять проверку задания, и себе выходило дороже. Пришлось экстренно отодвинуть на одного человека квартирную очередь – ладно... не в первый раз... не в последний.

Счастливая Сашка отправила в Комитет благодарственную открытку, а в душе свербило: еще бы что-то послать, нужное, существенное... Не придумала что.

Сидящие на скамейке у подъезда старухи, словно тоже перенесенные сюда космическим ветром из дворов ветхих бараков, обсмаковали невзрачный Сашкин переезд. Прощупали вострыми глазами несколько баулов, дощатый стол, два табурета и два матраца – большой и маленький. Зашептались за спиной:

- Двухкомнатную квартиру дали одиночке... Разве таким двухкомнатные дают?
- Знать, чем-то горсоветского председателя подмаслила...
- Эта-то?! Ни рожи ни кожи...

Сашка запылила щеками. Хотелось повернуться и крикнуть: «Почему вы такие злобные? Почему?! Мечта сбылась у меня, а вы!..» Сделала вид, что не слышала нарочно громкого шепота.

Перезнакомившись со старухами позже, Сашка поняла, что вовсе они не злобные. Им на первых порах просто разговаривать было не о чем. Сами еще приглядывались друг к другу, а под сурдинку обсуждали недостатки и пожитки новоселов.

Как замороженная бродила Сашка из прихожей в кухню со встроенными полками и белой газовой плитой, из зала в детскую, прикасалась к теплым батареям, к никелированным кранам и эмалевой ванне. Чудо что за квартира, космическая квартира – мечта номер один большей части неблагоустроенной и трети бездомной страны.

Приученная на всем экономить, удивлялась послушной воде. Зачем такая трата? Сашка любила воду, знала восторг взлета на ребристых гребнях реки, но в привычной своей неприхотливости умела помыться вся и в шаечке, начиная с густых волос, заканчивая большими ступнями. Жаль было хорошей продезинфицированной воды, льющейся из всех кранов города. Потом эта использованная масса с химией, мылом, нательной грязью, всякой другой пакостью попадает обратно в реку. Какой-то неправильный круговорот...

Ходить по-большому в квартирном туалете Сашка долго не могла. Само наличие, извините, сральника в пяти шагах от обеденного стола представлялось ей чем-то странным, вроде звездолета в дикой природе, пусть этот сральник и чистой голубизны. Кому рассказать – не поверят, чуть психическая боязнь не образовалась у Сашки на почве домашней дефекации. Пока не привыкла, справляла крупную нужду в садике, где все было по-человечески: дети – по горшкам, взрослые – в уборную на улице.

Сашку приняли в нянечки. Коллектив сада в полном составе пришел к ней на новоселье со своими стульями. Заведующая сказала прочувствованную речь о том, как «...дружеская рука великой Терешковой протянулась к нашей Александре Ивановне сквозь мировые пространства...» и так далее. Сказала вообще о дружбе, взаимовыручке и сострадании между советскими людьми. Добрая заведующая была благодарна воспитателям за то, что они в свое время не выдали тайну убежища бесприютной мамочки в государственном учреждении. Проговорив следующие поздравления разной степени искренности, коллектив вручил Сашке люстру с четырьмя матовыми плафонами и... проигрыватель! Последнему она особенно обрадовалась, он значился в списке ее вещевых мечтаний – давно присматривалась в отделе «Мелодия» книжного магазина к пластинкам со сказками для Лилечки.

Все на работе с того вечера стали называть Сашку Александрой Ивановной, как агитатор когда-то. Потом некоторые незаметно упростили имя-отчество в Санну Ванну, что не очень ей нравилось, и соседи так звали, только для деревенских осталась она Сашкой по прозвищу Трансформатор. Это прозвище с намеком на опасное для жизни влезание в трансформаторную будку дал Сашке приставучий шофер, которому она двинула по носу.

Александра Ивановна съездила в районный центр за сундуком. Будучи Сашкой, она несколько месяцев до переезда в город снимала в поселке угол у пьющей пенсионерки. Старушка за девять лет мало изменилась, так же тихо пила и громко скандалила, но сундук бывшей жилички берегла в полной целостности. Кое-как довезла его Александра Ивановна домой на попутном грузовике и собственными силами доперла до своего четвертого этажа.

Лилечке любопытно было узнать, чем заполнена старинная укладка с фигурной скважинкой замка и обитыми резным железом торцами. Вечером сели рядом, Александра Ивановна по одной доставала дорогие сердцу вещи, вспоминала и рассказывала. Тихонько плакала...

Из утвари там находились, один в другом, три древних туеса с клеймами, шитые лучшей «берестяной» искусницей – прабабушкой Сашки. Основательница рода Кондратьевых, она дождалась рождения первенца у младшего внука Ивана и преставилась с легкой душой.

Баланс с противоположной стороны сундука поддерживал тульский, в бляхах-медалях, дедовский самовар, теперь генерал в отставке, годный разве что кухню украсить. Ну и как память...

Два альбома с фотографиями – семейный кондратьевский и материной родни – Александра Ивановна отложила, тут просмотр потребует отдельного времени. Развернула камчатый платок – выпала размахренная пачка военных писем.

– Их тоже как-нибудь после прочитаем, Лилечка...

О платке ничего не сказала. Эту узорчатую красоту отец подарил матери в пору страсти и умыкания ее, чужой невесты, из-под носа у хорошего человека, тезки Ивана Чичерина. В жестяной коробке из-под чая лежали отцовские и чичеринские боевые награды. Мать сблизилась с несостоявшимся женихом после смерти отца... История не для детских ушей.

Из кипы пожелтелых простынь с подзорами Александра Ивановна извлекла портрет старшего брата и выцветший рисунок под стеклом в деревянной рамке. Синие цветы в вазе Ванечка школьником нарисовал в подарок матери. Картинка была яркой при ее жизни, а ушла мать – словно увяли васильки...

– Мой брат Ванечка, я тебе о нем говорила. Погиб в Польше.

– Похож на тебя.

– Нисколько не похож. Красивый был.

– Ты тоже красивая.

– Да ну.

Александра Ивановна вынула последнюю вещь, закутанную в любимую шерстяную шаль. Вот шаль нисколько не потеряла яркости, по-прежнему алы цветы и сочен цвет зелени. Только от нафталина простирнуть...

– А это что? – спросила Лилечка.

– Икона.

Дочь всмотрелась в темную от времени деревянную досточку.

– Такая... хорошая. Мама с мальчиком.

– Богородица.

– Жаль, нельзя икону на стену повесить.

– Жаль, – согласилась Александра Ивановна.

Туесы она распределила по встроенным полкам, самовар закрасовался на подоконнике. Сосед помог пробуровать стену в зале для Ванечкиного портрета и рисунка. Александра Ивановна поставила под ними сундук, накрыла матрацем, одеялом, на сундуке и спала. Ноги не помещались, приходилось сворачиваться калачиком, и так потом привыкла к этой позе, что не могла иначе уснуть. А Лилечке с сэкономленных зарплат купила раскладное кресло.

С доброй руки заведующей в комнатах появились списанные детсадовские вещи. Александра Ивановна отремонтировала шкафчики и стулья, выкрасила их глянцевой эмалью. Плотная, габаритная, как женщина кисти художника Дейнеки, ходила среди лилипутского «гарнитура» очень довольная собой. Ну и пусть она, сундук и тульский «генерал» выглядели некомплектно ко всему остальному, включая хрупкую Лилечку, кого это смущало? Не сочтаясь внешне, люди и вещи в квартире радостно дополняли друг друга, а со временем миниатюрная мебель, сменившись высокой, была роздана знакомым по дачам.

Летом Александра Ивановна подменилась с другой нянечкой на три дня и пустилась с Лилечкой до райцентра на автобусе, затем в деревню где пешком, где на телегах с сенокосчиками. Шла по деревне и улиц не узнавала. Сколько новых изб! Клуб двухэтажный! Лилечка впервые увидела близко стадо, прижалась к матери: «Коровы, как большие собаки...» Огорчилась Александра Ивановна – совсем городской ребенок. Она-то в Лилечкином возрасте доила коров и кормила, телятники на ферме чистила, носила зимой воду потемну...

Вот и дом родной. В нем теперь жил женатый сын бывших соседей. Глаза не поверили: в палисаднике, как в детстве, сплетая ветками, поднимались к небу две тоненькие березки,

и солнечные пятна проливались в их тених на песчаную тропку к калитке, словно капли густого меда.

«Тетка Катерина велела березы посадить», – благодарно подумала Александра Ивановна, вспомнив, как соседка кручинилась, когда мать ни с того ни с сего срубила деревья.

Обняла тетку, приковылявшую навстречу на больных ногах, и почувствовала себя прежней Сашкой. Катерина расплакалась на плече, по плечо и была ей теперь, – «вниз начала расти», как говорят о стариках. Дядя Кеша чистил во дворе сети и еле признал Сашку в молодой женщине с высокой модной прической.

– Ты в гости или как?

– В гости, по землянику.

– Ага, ее нынче навалом, хоть жопой ешь! – радостно прокричал дядя Кеша, глуховатый еще с войны, и осекся, увидев Лилечку.

Хозяева захлопотали. Дядька спустился в подпол, заметал на стол грибы-варенья, нашинкал в салат огурцов с помидорами. Катерина принесла из летней кухни блюдо с утрешними карасями заморить червячка людям с дороги, затеяла на вечер булки и сладкий пирог. Два часа сидели за чаем. Счастливая Сашкиным приездом, тетка всю деревню с другого края перебрала, выкладывая сплетни застарелые и новые. Пригорюнилась, что сын попивает, косясь на мужа:

– Есть в кого... Сам-то небось завязал глыкать, как сердце ослабло...

– Ага, ага, – кивал дядя Кеша, мало что слыша, и ласково посматривал на Лилечку. Сашку он в детстве любил, Лилечка же привела его в восторг умными вопросами и нездешним видом – нежная, беленькая, как сахар-рафинад...

Пошли вдвоем кормить телят болтушкой. Углядев хозяина с ведрами, смышленные телята поскакали к нему, а Лилечка – от них. До дома далековато, побежала к уборной и заперла дверь на крючок.

– Ты чего? – испугался дядя Кеша. Подумал, что понос девчоночку прохватил от непривычной пищи.

– Отец ее тоже коров боялся, – грустно сказала Александра Ивановна.

Проницательная тетка Катерина, смекнув, хлопнула себя ладонью по щеке:

– О-ой, Сашка... Агитатор, что ли?..

Разговаривали до полночи. Гостя Катерине доверилась, рассказала и о прекрасном человеке заведующей, и о космической квартире, и про всех добрых людей. Пожаловалась:

– В душе будто долг остался. Так хочется порадовать чем-нибудь Валентину Владимировну, а чем – не знаю.

– А ты ей варенья пошли, – посоветовала тетка Катерина. – Завтра соберем земляники, вот сваря и пошли. У них-то в Кремле навряд ли свежее дают.

Утром прихватили булки, бутылки с забеленным чаем – и в тайгу. Душистой ягоды впрямь высыпало невиданно – красным-красно на полянах.

К городу спелая земляника опала в эмалированном ведре, обводнилась, но варенья все равно вышло много – трехлитровая банка Валентине Владимировне и две по литру Лилечке на зиму.

А на почтамте брать банку отказались. Не по правилам отправлять в стекле.

Удрученная отошла Александра Ивановна от окошка. Впихнула гостинец обратно в сумку, и кто-то дернул за рукав:

– Вас там приемщица зовет!

– Не расстраивайтесь, – сказала женщина в окошке. – Можно в грелке послать. Солдатские матери в грелках все жидкое в армию посылают, даже топленое масло.

Купленную в аптеке медицинскую грелку Александра Ивановна выстирала с хозяйственным мылом до визжащего скрипа, ополоснула в нескольких водах и под конец выдержала в кипятке. Все три литра поместились в резиновой таре. Пробка завинтилась так,

что без помощи ножа не откроешь. В письме к посылке объяснялось, почему гостинец не в банке.

«...хитрость с грелкой подсказала мне хорошая приемщица на почте. Не побрезговайте дорогая Валентина Владимировна моим вареньем. Поклон Вам до самой земли за квартиру благо устроеную, до сих пор в нашу радость не верить. Желаю Вам тоже больших радостей в жизни общественной и личной и крепкого здоровья».

В этот раз Александру Иванову в горсовет не вызвали, и по адресу, собственному и законному, она ответа не дождалась. Наверное, совсем недосуг было Терешковой тратить драгоценное время на незначительные отписки. Но живо представлялось Александре Ивановне, как государственная женщина, отодвинув деловые письма, устало улыбается своим помощникам: «Не урвать ли нам, ребята, пять минут времечка на чай с земляничным вареньем?» От живописной этой картины становилось так тепло и приятно, будто сама Александра Ивановна видела и слышала Валентину Владимировну. Спасибо тетке Катерине – надоумила, и понятливой приемщице спасибо.

И мечтала уже Александра Ивановна о будущем лете. Вот поедут они с Лилечкой в деревню на весь отпуск, привыкнет дочь к коровам и научится доить... Снова соберут землянику и отправят варенье в Москву... А если зарядят дожди и ягода не уродится, пошлют Валентине Владимировне соленые грузди в провощенной бумаге. Для лучшей сохранности можно еще пропитать бумагу комбижиром. Самолеты быстро летают, не должны грузди попортиться, и человек на почтамте теперь есть знакомый – возьмет...

Ты все знаешь

В шестом классе близорукой Лилечке выписали очки. Обескураженная Александра Ивановна, у которой зрение оказалось стопроцентным, заказала очки в мелкой пластмассовой оправе, чтобы шли к гладкокожему, нежному лицу дочери. Они и шли, будто сроду сидели на ее аккуратном носу. Александра Ивановна тихонько вздыхала, глядя на Лилечку. Во всем, что не касалось учебы, та была неухватистой и, честно сказать, какой-то блаженной. От матери унаследовала только русый, почти белый с легкой золотистостью, цвет волос.

Кого корить? Такой был социальный заказ. Ведь сама Александра Ивановна в бытность свою деревенской девчонкой Сашкой захотела ребенка от интеллигентного очкарика, тонкого внешне и внутри.

По жизни умненькая Лилечка шагала весело и бесхитростно. Мечты в ее светлой голове роились тоже светлые – о прекрасных межгалактических городах, персональных летающих аппаратах и мире во всем мире. А непосредственно окружающий мир словно специально для Лилечки был создан, все в нем чудилось ей сквозь очки изумрудно-ласковым, как на курорте или в сказке, и ничего дурного она не видела, подрастая в чистоте мыслей и квартиры, надраенной матерью до блеска. Так о Лилечке думала по крайней мере Александра Ивановна и довольна этим была, и тревожилась о том, что мир может нечестно с девочкой поступить. А дочь посмеивалась над Александрой Ивановной, гонящейся с тапкой и дустом за проникшим от соседей тараканом: «Ты ему, мама, наверное, кажешься тиранозавром!» Долго объясняла по книжке, кто он такой, этот тирано... и другие завры, и археоптериксы, и прочие неандертальцы с кроманьонцами.

Лилечка много читала, любила наполненный мудреными словами и книжной пылью воздух библиотеки. Окончив библиотечный институт, стала работать там, где ей нравилось, – читальный зал, тихое место, коллектив женский, как в детском саду. Специфика труда не располагала к созданию семьи. Люди же приходят в библиотеку романы читать, а не крутить. Александра Ивановна опасалась, что дочь останется в старых девах. Одновременно страшилась явления в дом незнакомца с предложением Лилечке руки и сердца. Но должно же это случиться? По возрасту Лилечка далеко опередила короткий марьяжный период матери. Соседка Лизавета научила Александру Ивановну раскладывать карты. Гадание показывало червонного короля, и хорошо, ведь как ни тяжка была Александре Ивановне мысль отдать лелеемый цветок чужому человеку, отдала бы, не колеблясь. Вручила бы, закрыв глаза, и убежала, чтоб не пытаться выдернуть Лилечку обратно с рукоприкладством.

Пока дочь порхала на работу и домой в коротких юбках и узких брючках, ни разу к ужину не задержавшись, Александра Ивановна от всей материнской души мечтала о серьезном, спокойном и скромном женихе для Лилечки. Пусть будет радиотехник, например, или инженер, только с условием, что без очков. Одного очкарика в семье достаточно. Не вытерпела, сказала о пожелании дочери.

– Серьезный, спокойный, скромный радиотехник? – засмеялась Лилечка. – Мама, это же СССР!

– Что – СССР? – удивилась Александра Ивановна.

– Аббревиатура, – дочь прямо заливалась, – серьезный... ха-ха-ха! Спокойный! Скром...

Где ты таких радиотехников видела?

Александра Ивановна обиделась.

– А тебе, конечно, несерьезные нравятся...

– Мам, ну не сердись. Я же с таким паинькой от скуки умру... Зачем мне муж, мамочка? Нам с тобой без них, скромных, вдвоем хорошо.

Пугаясь, что дочь заведет старый разговор о своем отце – кто он, где, с кем, Александра Ивановна смолкла.

...Уму непостижимо, каким образом попал в простодушное сознание Лилечки вирус любви. Да к кому! Не такого, не этого желала мать жениха. Мысль же о Генке Петрове, соседе из второго подъезда, была не от души, а с душком. Огромная разница, причем даже не мысль, нет, – устойчивое мнение, как о неисправимом балбесе. Сформировалось оно где-то лет пятнадцать назад, когда юный Генка торчал во дворе вечерами в компании длинноволосых стилиг, а ночью свистел у Лилечки под окном. И вот этот соловей-разбойник, взрослый уже мужик, но все равно явный шалопут, встал у двери перед Александрой Ивановной, как сыть перед травой, с большущим арбузом в руках – люби и жалуй...

Лилечка защебетала:

– Мама, это Геннадий Афанасьевич, мой друг. Гена, это моя мама. – Поцеловала мать в хмурое лицо, подхватила арбуз и побежала накрывать на стол.

В упор не видя протянутой для знакомства ладони, Александра Ивановна мрачно буркнула:

– Знаю вас давно, и вы меня знаете.

Горючим жаром исходила душа. Неужто Генка Петров и есть червонный король?! Приперся, неожиданный гость хуже татаро-монгольского ига, угощать свистуна еще...

За столом он вел себя как СССР. В смысле, как скромный радиотехник. Но был, разумеется, не радиотехником, куда ему. Прояснил вопрос:

– Работаю в милиции.

Значит, все-таки изменился за столько-то лет. Александре Ивановне немного полегчало, а едва улегся душевный жар, вся похолодела от Лилечкиных слов:

– Геннадий Афанасьевич – начальник колонии. Раз в месяц я рассказываю заключенным о книжных новинках и привожу им заказанные книги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.